

# РУССКАЯ МЫСЛЬ

ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ

*шольв*



КНИГА VII

---

МОСКВА И ПЕТРОГРАДЪ

1915

## Война и Франція. <sup>1)</sup>

### I.

Славянофилы, утверждавшие, что у России „особенная статья“, что ее „аршиномъ общимъ не измѣришь“, всегда примѣняли этотъ упрощенный аршинъ, когда имъ приходилось касаться Франціи или Запада. Такъ создалось и популяризовалось въ Россіи представленіе о Франціи, какъ о странѣ „духовнаго нигилизма“ и иррелигиозности *par excellence*. И эта традиціонная характеристика повторяется у цѣлаго ряда писателей самыхъ различныхъ направленій.

Но всѣ эти поверхностныя характеристики должны быть теперь пересмотрѣны, равно какъ старыя формулы о славянской пассивности или „женственности“ и цѣлый рядъ другихъ клише, которыми пользуется культурная масса, не имѣющая ни желанія, ни возможности задумываться надъ такими вопросами.

Всѣ такія оцѣнки упускаютъ изъ виду, что французская душа не менѣе загадочна, чѣмъ русская.

Съ одной стороны, Франція, дѣйствительно, самая рационалистическая страна въ мірѣ, унаслѣдовавшая свой рационализмъ еще отъ римлянъ и развившая его до крайнихъ выводовъ. Вся французская культура носитъ отпечатокъ этого рационализма: начиная съ Декарта и его „*cogito ergo sum*“, черезъ французскихъ моралистовъ XVII, черезъ просвѣтителей XVIII вѣковъ и фанатическій культъ богини Разума, до скептической ироніи Ренана и Анатоля Франса. Подобно тому, какъ бѣлый цвѣтъ является синтезомъ всѣхъ цвѣтовъ спектра, такъ и французскій рационализмъ никогда не оставался тождественнымъ себѣ, а принималъ все новыя и новыя формы, проявляясь то въ философіи, то въ искусствѣ, то въ политикѣ, являясь то орудіемъ синтеза (въ эпоху классицизма), то орудіемъ диссолюціи отжившихъ культурныхъ формъ (эпоха Революціи), вызывая иногда болѣзненную гипертрофію интеллектуализма, психологизма и другихъ формъ рефлексіи, подавляющихъ волю. Этимъ свойствомъ французскаго генія объясняется, почему Фран-

<sup>1)</sup> Авторъ этой статьи Г. Э. Тастевень скончался, не успѣвъ прочитать ея корректуры. Мы просимъ друзей покойнаго доставить намъ о немъ біографическія свѣдѣнія. *Ред.*

ца всегда являлась въ Европѣ страной перваго шага, неутомимой лабораторіей новыхъ эстетическихъ, политическихъ и моральныхъ системъ, законодательницей модъ и своего рода „arbiter elegantiarum“ Европы. Франція обладала даромъ придавать общечеловѣческое, универсальное значеніе даже принципамъ, выработаннымъ другими культурами (напримѣръ, идеи революціи были высказаны въ Англии, но именно Франція придала имъ универсальный характеръ).

Эту Францію древней и какъ бы расовой культуры интеллекта, Францію культурной утонченности (*morbidezza*) и нѣкоторой расшатанности воли любилъ Ницше. И эта Франція мила сердцу тѣхъ маленькихъ эстетовъ, космополитическихъ туристовъ и всевозможныхъ культурныхъ паразитовъ, которые со всего міра стекаются въ Парижъ, привлекаемые туда „запахомъ декаданса“.

Но высказанный тезисъ о Франціи имѣетъ и свой антитезисъ, который не менѣе реаленъ и который можно формулировать такъ: Франція—страна наиболѣе католическая, старшая дочь Церкви, страна крестовыхъ походовъ, Людовика Святого и Жанны д'Аркъ, страна Паскаля, Боссюэ, Ламеннэ, Верлена и Клоделя, страна, всегда стремившаяся сердцемъ къ вѣчному и безусловному, даже когда она отрекалась отъ Бога.

Въ этомъ тезисѣ и антитезисѣ, которые оба одинаково реальны, кроется главная антиномія французской души. Вотъ почему Франція была всегда чуждъ религиозный рационализмъ и всѣ поверхностные компромиссы между вѣрой и разумомъ, между наукой и религіей, которые столь дороги протестантскому рационализму. И этимъ объясняется трагедія Паскаля, этого наиболѣе законченнаго выразителя французскаго типа. Величайшій скептикъ, не устранившійся самаго крайняго отрицанія, Паскаль обладалъ страстной жаждой вѣры, доходящей до экстаза. И путь, которымъ онъ преодолеваетъ рационализмъ, его знаменитое „пари“, который часто совершенно невѣрно истолковываютъ, гораздо болѣе глубокъ, чѣмъ примать практическаго разума Канта. Какъ извѣстно, сущность пари заключается въ томъ, что разумъ актомъ воли устраняется отъ рѣшенія вопроса о бытіи или небытіи Бога; ему предоставляется лишь опредѣлить практическія послѣдствія того или другаго рѣшенія для личности. Но, конечно, этотъ кажущійся утилитаризмъ есть только поводъ для того, чтобы могло проявиться то, что Паскаль называетъ „*raisons du coeur*“ и что является внутреннимъ мистическимъ актомъ личности, тогда какъ примать практическаго разума опять исходитъ изъ общеобязательной логической нормы и возстановляетъ рациональную мифологію. И это признаніе участія акта воли въ рѣшеніи антиноміи разума есть лучшее противоядіе противъ рационализма и скептическаго дилеттантизма. Пари Паскаля, которое есть

вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно оригинальное рѣшеніе антиноміи свободы и необходимости, является типично французскимъ подходомъ къ вѣрѣ. Мы съ нимъ встрѣтимся у цѣлаго ряда французскихъ мыслителей (начиная съ Руссо въ „Profession de foi d'un vicaire savoyard“, у Ренувье, отчасти у Фулье и другихъ).

Эта антиномичность французскаго сознанія имѣетъ свои корни въ исторіи: Франціи было какъ бы предназначено осуществить синтезъ римскаго рационализма и кельтійской мистичности.

Вотъ почему и Паскаль, и Вольтеръ, при всей ихъ противоположности, являются въ глубочайшемъ смыслѣ французами. И поэтому Франція могла быть одинаково выразительницей такихъ противоположныхъ теченій, какъ классицизмъ (съ его культомъ разума и девизомъ: „Aimez la raison“) и романтизмъ (съ его антираціоналистической и религиозно-мистической тенденціей.)

Признаки переживаемаго сейчасъ Франціей религіознаго возрожденія явились неожиданностью для тѣхъ, кто хотѣлъ бы ограничить миссію Франціи охраной принциповъ Революціи или проповѣдью космополитическихъ и социалистическихъ идеаловъ.

Но для тѣхъ, кто имѣетъ въ виду антиномичность французскаго сознанія и кто не вѣритъ, что культурная миссія Франціи исчерпана,— для тѣхъ религіозное возрожденіе Франціи не явится неожиданностью.

Сейчасъ Франція подъ тевтонскимъ натискомъ объединилась во всенародномъ порывѣ, напоминающемъ лучше моменты революціи. Но чтобы это объединеніе не явилось лишь внѣшнимъ и временнымъ, Франція должна осознать свою новую миссію въ Европѣ. Она должна открыто исповѣдать тѣ цѣнности, которыя она можетъ противопоставить пангерманизму и которыя обезпечатъ ей побѣду. Современный кризисъ французской культуры не социальный или политическій, а въ глубочайшемъ смыслѣ кризисъ французскаго сознанія. Можетъ быть, никогда еще Франція не находилась передъ такой рѣшающей гранью, какъ теперь. Сумѣетъ ли Франція выразить новый универсальный синтезъ, уже предчувствуемый современнымъ сознаніемъ, или же она окончательно успокоится на томъ состояніи иррелигіозности, когда человѣкъ не будетъ окончательно приспособленъ къ общественному строю и не будетъ томиться никакими „религіозными неврозами“? Вотъ грозная дилемма, которую теперь предстоитъ рѣшить Франціи.

## II.

Чрезвычайно важнымъ культурнымъ симптомомъ момента является во Франціи возрожденіе національной идеи послѣ сумерекъ патриотизма

90-х годовъ и появленіе новаго національнаго течения, демократическаго и универсальнаго. <sup>1)</sup>

Это движеніе, извѣстное подъ именемъ „молодой Франціи“, возникло послѣ дѣла Дрейфуса, обнаружившаго коалицію эгоистическихъ и узко-классовыхъ интересовъ, прикрывавшуюся національной идеей. Вырвать это великое знамя изъ рукъ реакціонной клики—вотъ цѣль, которую поставила себѣ группа молодежи дрейфусаровъ во главѣ съ недавно геройски погибшимъ въ битвѣ при Марнѣ Шарлемъ Пегі <sup>2)</sup>.

Для Шарля Пегі дѣло Дрейфуса имѣло не только политическій или культурный смыслъ—оно было дѣломъ религіознымъ. „Мы признавали,—говоритъ Пегі,—что одна неправда, одно преступленіе, одно беззаконіе, особенно когда оно подтверждено официально, когда оно санкціонировано всенародно... достаточно для расторгненія соціальнаго договора, достаточно для того, чтобы покрыть позоромъ цѣлый народъ“.

Сущность вопроса, который рѣшался въ это время, заключается въ слѣдующемъ: стоило ли изъ-за одного человѣка, вдобавокъ почти полутрупа, подвергать опасности цѣлый народъ, ставить на карту національные интересы? Не совѣтовали ли голосъ благоразумія и государственные интересы итти на компромиссъ? И на это именно указывали антидрейфусары. Но другая великая любовь къ Франціи, напротивъ, побуждала пренебречь всякими компромиссами. „Мы были людьми вѣчнаго спасенія, а наши противники были людьми спасенія временнаго. Мы не хотѣли, чтобы Франція оказалась въ состояніи смертнаго грѣха. Вотъ истинный смыслъ дѣла Дрейфуса“,— такъ говоритъ Шарль Пегі (*Cahiers de la quinzaine*, 17 juillet, 1910). Народъ, который вынесъ такой кризисъ во имя истины, можетъ быть только глубоко религіознымъ.

Моральный исходъ „дѣла“ является лучшимъ доказательствомъ, что буржуазнѣйшая и иррелигіознѣйшая Франція, не разъ закрывавшая свои храмы и даже подвергавшая, по выраженію Достоевскаго, баллотировкѣ самого Бога, въ сущности, оставалась въ душѣ безсознательно христіанской.

„Молодая Франція“ проникнута тѣмъ идеализмомъ, который объединялъ Францію въ лучшіе, „героические“ моменты Революціи; она глубоко тяготится сознаниемъ, что вино 1789 года вывѣтрилось и что демократизмъ становится все болѣе бездушнѣйшей механикой. Они

<sup>1)</sup> Характеристику формъ, которыя приняло возрожденіе національнаго сознанія во Франціи, можно найти въ книжкѣ *E. Rey*: „La renaissance de l'orgueil français“, 1912 и въ различныхъ анкетахъ, изъ которыхъ наиболѣе извѣстны книжка *Атамона*: „Les jeunes gens d'aujourd'hui“ и *E. Henriot*: „A quoi revent les jeunes gens“ (о литературныхъ теченияхъ.)

<sup>2)</sup> О Шарлѣ Пегі мы дадимъ въ одной изъ ближайшихъ книжекъ *Русской Мысли* специальную статью. *Ред.*

сознають, что современная республика, демократическая по формѣ и буржуазно-бюрократическая по существу; республика,—санкционирующая смертную казнь и механическую борьбу классовъ,—вовсе не является тѣмъ строемъ, за который боролось и умирало столько истинныхъ апостоловъ революціонной идеи. Отъ социаль-демократіи ихъ отдѣляетъ стремление послѣднихъ свести социальный вопросъ къ механической борьбѣ классовыхъ интересовъ, къ идеалу средней сытости—тенденція, которая все болѣе и болѣе беретъ верхъ въ революціонномъ синдикализмѣ. Въ противоположность этому „научному“, „позитивному“ социализму, они стремятся опереться на всенародное національное сознание, а не быть только выразителями классового сознания. Съ другой стороны, отъ социаль-демократовъ ихъ отдѣляетъ отношеніе къ національному вопросу. Ихъ глубоко отталкиваетъ упрощенный космополитизмъ, отрицающій національность; они мечтаютъ о синтезѣ національной идеи и демократизма, о священной собственности. Но этотъ юный идеализмъ скоро сталкивается съ господствующимъ духомъ оппортунизма и отсутствія большихъ общественныхъ и политическихъ идеаловъ.

Особенно ясно почувствовалъ Пеги этотъ „grand néant“, скрывающійся за демократическимъ фасадомъ, на гражданскихъ похоронахъ Бергло въ Пантеонѣ.

„Въ этомъ гражданскомъ апофеозѣ не было ни одного жеста, который не былъ бы оскорбителенъ.

„Нѣкоторые стояли, другіе сидѣли въ ожиданіи. У всѣхъ были шляпы на головѣ, за исключеніемъ, конечно, тѣхъ, кому было жарко. Разговаривали громко, кричали, смѣялись, окликали знакомыхъ, стучали такъ, что переставали слышать другъ друга. И когда почтенный г. Фальеръ показался вблизи и готовъ былъ войти, одинъ изъ курьеровъ, среди общей суматохи женщинъ республиканской охраны, среди шутокъ, раздававшихся въ этомъ площадномъ гамѣ, перенесенномъ внутрь храма,—плохо воспитанный курьеръ, курьеръ безъ стила, крикнулъ капельмейстеру: «Allons! hop! là-bas! la musique. V'la le président. vot' Marseillaise. Vous autes»“.

Общее измелчаніе интересовъ, отсутствіе большого объединяющаго дѣла, торжество эгоистическихъ классовыхъ интересовъ и всеобщій оппортунизмъ угнетаютъ молодежь, но она не поддается этой мертвящей атмосферѣ.

„Мы поклялись никогда не отчаиваться въ отечествѣ“, — говоритъ Gaston Riou, другой представитель этой молодежи.

Однако, временами взятое на себя представителями „молодой Франціи“ дѣло кажется имъ слишкомъ грандіознымъ, и уныніе готово овладѣть ими:

„Мы—обреченное поколѣніе,—шепчетъ Пеги,—мы не только побѣ-

ждены. Это еще ничего. Есть славныя, громкія пораженія, которыя славныя побѣды. Но наше поражение самое худшее изъ всѣхъ, это абсолютное поражение: насъ даже не будутъ презирать—насъ забудутъ“.

Однако, чисто религиозная вѣра въ миссію, лежащую на ихъ поколѣнїи, поддерживаетъ Пеги и его друзей. Эта вѣра, вмѣстѣ съ чувствомъ глубокой отвѣтственности, присуща всѣмъ представителямъ этой молодой Франціи.

„Мы проникнуты чувствомъ огромной отвѣтственности, тягостной увѣренностью, что на насъ лежитъ тяжелая миссія. Наше поколѣние, поколѣние, достигшее возмужалости съ началомъ вѣка, имѣетъ огромное значеніе. На него возложены всѣ наши надежды—мы это знаемъ. Отъ него зависитъ благо Франціи, а слѣдовательно, благо міра и цивилизаци“. Эти слова другого представителя „jeune France“, недавно геройски павшаго въ бою лейтенанта Психари, внука Ренана, <sup>1)</sup> свидѣлствуютъ о томъ, съ какой серьезностью ставится въ сознанїи молодого поколѣнїя проблема культуры.

Безвременно погибшїй Психари является яркимъ типомъ новой молодежи. Еще недавно, незадолго до войны, онъ выпустилъ книгу „L'appel à l'armée“, гдѣ выразилъ свою пламенную вѣру во французское возрожденіе. И этой вѣрѣ онъ оставался вѣренъ въ теченіе всей своей короткой, но бурной жизни. Психари былъ блестящимъ питомцемъ университета, готовившимся защитить диссертацию о банкротствѣ идеализма, и ему, несомнѣнно, была обеспечена блестящая ученая карьера. Но господствующая въ храмѣ буржуазной науки атмосфера официальнаго позитивизма и педантизма его угнетала. И вотъ, подобно Пеги, онъ порываетъ съ университетомъ и поступаетъ въ экспедиціонный корпусъ въ Марокко въ единственной надеждѣ служить Франціи. Все это свидѣлствуетъ о глубокой нравственной тревогѣ, о существованїи запросовъ, которые не находятъ удовлетворенія въ атмосферѣ буржуазной республики съ ея классовымъ эгоизмомъ, торжествомъ малыхъ дѣлъ и сытаго оппортунизма.

### III.

Въ чемъ же заключаются причины упадка и измельчанія демократической идеи, которое проявилось особенно ярко въ послѣднее время въ торжествѣ духа оппортунизма и всевозможныхъ парламентскихъ скандалахъ? Какія причины троекратнаго пораженія демократической идеи въ XIX вѣкѣ (послѣ 89 года—реакція 93 г. и цезаризмъ Наполеона, затѣмъ 48 годъ и вторая имперія, наконецъ 1870 годъ и со-

<sup>1)</sup> Переводъ романа Психари будетъ напечатанъ въ нашемъ журналѣ. *Ред.*

временныя „стоячія воды“ третьей Республики)?—вотъ вопросъ, который Шарль Пеге и его друзья стремятся разрѣшить съ полной искренностью. И выводъ, къ которому они приходятъ, крайне знаменателенъ. Вотъ что пишетъ Шарль Пеге въ одномъ изъ своихъ „Cahiers“, получившемъ особенное распространение вскорѣ послѣ проведенія закона объ отдѣленіи церкви отъ государства:

„Процессъ дереспубликанизации Франціи въ глубочайшей своей сущности тождествененъ съ процессомъ дехристианизации. Это — одинъ и тотъ же процессъ разложенія мистики (démystification). Одинъ и тотъ же путь приводитъ къ отрицанію Республики и къ отрицанію Бога, однѣ и тѣ же причины заставляютъ отказываться отъ республиканскихъ формъ и удаляться отъ христіанства. Одно и то же безплодіе поражаетъ общину религіозную и общину политическую, градъ людей и градъ Божій. Это—современное безплодіе. И пусть никто не радуется при видѣ несчастья, постигнаго врага, противника или сосѣда. Ибо то же несчастье, то же безплодіе поражаетъ его самого“.

Въ этихъ словахъ знаменательно, прежде всего, установленіе связи между демократическимъ идеализмомъ и христіанскимъ инстинктомъ французскаго народа и, затѣмъ, отрицаніе возможности осуществить истинно демократическія формы общенія (очень далекія отъ современной буржуазно-парламентарной республики) при помощи одной перемѣны политическихъ конституцій. Крайне важна также переоцѣнка роли политическаго фактора и вѣры въ государство, которая дѣлала французскій народъ самымъ политическимъ между европейскими народами (въ этомъ отношеніи Франція въ полномъ смыслѣ слова—антитеза Россіи). И эта переоцѣнка вѣры въ государство вызвана сознаніемъ другой антиноміи французскаго сознанія. Въ самомъ дѣлѣ, Франція не безъ основанія можетъ быть названа самой свободолюбивой страной въ мірѣ, страной, гдѣ идея индивидуальной и общественной свободы стала какъ бы національной традиціей уже съ XIII вѣка. А съ другой стороны, Франція является страной государственнаго абсолютизма, *par excellence*, страной, гдѣ принципъ государственности достигъ особенной гипертрофіи и гдѣ интересы личности постоянно приносились въ жертву государственности. Этотъ государственный абсолютизмъ вовсе не былъ похороненъ со старымъ режимомъ: демократія лозунгъ „l'état c'est moi“ превратила въ „l'état c'est nous“. И эта вѣра въ политическій факторъ, эта робеспьеровщина, этотъ духъ „каторжнаго братства“<sup>1)</sup> одинаково свойствененъ и утопическимъ социалистамъ, и реакціонерамъ, и даже такимъ радикаламъ, какъ Комбъ, который по духу имѣетъ много родственнаго съ Людовикомъ XIV.

<sup>1)</sup> Выраженіе Герлена объ икаримѣ.



Вотъ почему идея „*coup d'état*“, государственнаго переворота во имя общаго блага, пользовалась одинаковою популярностью и у лѣвыхъ, и у правыхъ.

И не лучше обезпеченъ принципъ индивидуальной свободы въ современной республикѣ съ ея административно-полицейской централизацией. Для тѣхъ, кто видѣлъ, какъ полиція третьей республики разгоняетъ рабочіе митинги или демонстраціи, негодныя правительству, для тѣхъ очевидно, что духъ администраціи остался почти тѣмъ же, чѣмъ онъ былъ при второй имперіи. „Подъ невиннымъ названіемъ „*passage à tabac*“ полицейскій префектъ обладаетъ въ сущности настоящимъ правомъ жизни и смерти надъ мирными прохожими“, — замѣчаетъ Лоранъ Тайадъ. А смертная казнь, которую буржуазная демократія думаетъ огородить современный социальный строй, не является ли она самымъ возмутительнымъ пережиткомъ, посягательствомъ государства на права личности?

Все болѣе крѣпнеть сознаніе, что антиномія между индивидуальной и общественной свободой можетъ быть разрѣшена только на почвѣ религіозной. Все болѣе растетъ увѣренность, что идеаль послѣдней свободы не можетъ быть осуществленъ путемъ механическихъ измѣненій конституціи, а только осознаніемъ лежащей въ его основѣ религіозной идеи. Такимъ образомъ, культурная проблема обращается въ проблему религіозную.

---

Если, такимъ образомъ, болѣе глубоко поставленная общественная проблема привела къ религіи, то, съ другой стороны, въ католичествѣ, начиная съ конца XIX вѣка, происходитъ огромная эволюція, приближающая его къ общественности. Это движеніе обновленія католицизма, извѣстное подъ именемъ модернизма или социальнаго католицизма, началось при Львѣ XIII, который понялъ необходимость социальную политику католицизма направить въ сторону демократіи и санкціонировалъ его въ своихъ знаменитыхъ энцикликахъ „*Immortale Dei*“ (о государствѣ), „*Libertas*“ (о человѣческой свободѣ), „*Sapientiae*“ (о социальныхъ, гражданскихъ обязанностяхъ христіанъ), „*Regim novarum*“ (о рабочемъ вопросѣ). Въ своемъ романѣ „*Rome*“ Зола изобразилъ въ лицѣ аббата Пьера Фромана типъ такого идеалиста, мечтающаго о возрожденіи Церкви черезъ трудящіяся массы и защищающаго идеаль европейской демократической федераціи подъ главенствомъ папы.

Книга Фромана „*La Rome nouvelle*“, въ которой онъ выразилъ свою страстную вѣру въ новую миссію католицизма въ общественномъ устройствѣ, попадаетъ въ „*Index*“. и онъ ѣдетъ въ Римъ въ надеждѣ лично убѣдить папу въ своей правотѣ. Но драматическая и потрясающая сцена свиданія Пьера Фромана съ Львомъ XIII заканчивается кру-

шеніемъ всѣхъ его иллюзіи о возможности сдѣлать папство духовнымъ руководителемъ міровой демократіи.

И тѣмъ не менѣе, несмотря на всѣ запреты, обновленіе католицизма совершается съ той же исторической необходимостью, въ силу которой старый режимъ уступилъ мѣсто новому. Во Франціи это нео-католическое движеніе проявилось въ цѣломъ рядѣ католическихъ демократическихъ организацій, изъ которыхъ особенное значеніе имѣетъ „Le Sillon“,—ассоціація, задающаяся цѣлью реализовать идеи христіанской демократіи. Эта организація, насчитывающая до пяти тысячъ отдѣльных, была закрыта папской буллою въ 1910 году по обвиненію въ „модернизмѣ“.

Въ мои задачи не входитъ исчерпывающій историческій обзоръ этого движенія; я отмѣчу лишь одну его существенную черту: въ противоположность католическому движенію начала XIX вѣка, преслѣдовавшему политическія и реакціонныя цѣли, новое католическое движеніе, при всѣхъ своихъ демократическихъ идеяхъ, не стремится стать политической партіей. Вообще, мысль о созданіи во Франціи католической партіи, наподобіе германскаго центра (мысль, высказанная Піемъ X), совершенно неосуществима. Какъ вѣрно замѣчаетъ Сабатье, „если бы такой центръ, паче чаянія, и образовался и сталъ вершителемъ политическихъ судебъ, то это смѣшеніе политики и религіи вызвало бы такое возмущеніе, что старая католическая закваска, которая еще сохраняется во французской душѣ, внезапно бы дала себя знать и почерпнула бы въ своемъ негодованіи такія творческія силы, которыхъ мы не подозреваемъ“.<sup>1)</sup>

Вообще, въ современномъ католическомъ движеніи во Франціи можно различать слѣдующія группировки:

1) Католическое движеніе среди французской интеллигенціи и, главнымъ образомъ, среди литераторовъ и художниковъ,—движеніе, которое выразилось въ недавнемъ возвращеніи въ лоно католицизма такихъ писателей-символистовъ, какъ Клодель, Рэттэ, Шарль Морисъ; художниковъ, какъ Морисъ Дени и Девальеръ; композиторовъ, какъ Цезарь Франкъ и д'Энди. Сейчасъ во Франціи можно говорить о существованіи католической лирики, которая представлена такими именами, какъ Клодель, Франсисъ Жаммъ, Шарль Пеги, и цѣлой плеядой молодыхъ поэтовъ, изъ которыхъ многіе являются представителями областного возрожденія (*mouvement régionaliste*). Это движеніе имѣетъ въ своемъ распоряженіи цѣлый рядъ молодыхъ журналовъ, изъ которыхъ наибольшіе значительные: *Revue de France* и *Les marches de l'ouest*.

2) Другую группу составляетъ такъ называемый модернизмъ и „со-

<sup>1)</sup> Sabatier. L'orientation religieuse de la France actuelle.

пальный католицизм“, объединяющій всѣ попытки сближенія съ демократіей и рѣшенія социального вопроса въ христіанскомъ духѣ.

3) Третью струю образуетъ младо-французское движеніе съ народническимъ оттѣнкомъ.

4) Совершенно особнякомъ стоитъ *Action française*, руководители которой—Морисъ Баррэсъ и Поль Бурже—видятъ въ католицизмѣ прежде всего общественную дисциплину и цѣнятъ въ немъ, главнымъ образомъ, римскую идею принудительнаго универсализма. Эту римскую универсальную идею они соединяютъ съ нео-монархизмомъ въ политикѣ и классицизмомъ въ эстетикѣ. И на этой триадѣ они основываютъ „французское возрожденіе“.

Какъ я уже указалъ выше, „молодая Франція“ приблизилась къ католицизму, потому что увидѣла въ немъ неотъемлемую часть національной традиціи, живущей въ душѣ народа. Съ этой традиціей неразрывно связаны вѣчные спутники національнаго сознанія—народные святыи—Святая Женевиѣва и Жанна д'Аркъ, Людовикъ Святой, Паскаль и апостолы религіи человѣчества. И это возрожденіе чувства народной и католической Франціи вызвало среди молодежи многочисленныя присоединенія къ католицизму. Въ этомъ большая разница между современнымъ нео-католическимъ движеніемъ и движеніемъ девяностыхъ годовъ, которое явилось результатомъ разочарованія въ наукѣ и господствующемъ позитивизмѣ („банкротство“ науки у Брюнетьера) и имѣло идеалистическій и антиобщественный характеръ. Другъ Пеги, Лоттъ, такъ описываетъ публичное присоединеніе послѣдняго къ католицизму.

Пеги облокотился о столъ и съ глазами полными слезъ сказалъ:

„Я тебѣ не все высказалъ, я снова обрѣлъ вѣру, я—католикъ“...

„Это было внезапно и сопровождалось сильнымъ волненіемъ, — добавляетъ Лоттъ.—Сердце мое не выдержало, и, спрятавъ голову въ руки, я сказалъ ему почти противъ моей воли:

„Мой бѣдный другъ, мы всѣ почти пришли къ этому“.

Религія для молодежи не является системой абстрактныхъ догматовъ и формулъ. Въ ея основѣ лежитъ религіозное народничество, сознаніе, что только путемъ религіознымъ можетъ быть возстановлено единство Франціи.

Въ своей „*Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc*“ Пеги выразилъ эту вѣру, какъ живое и творческое начало, живущее въ душѣ народа. На трогательномъ языкѣ народныхъ молитвъ онъ излагаетъ таинство Евхаристіи и культъ Богородицы, чувство жертвенности и литургіи. И во всемъ этомъ чувствуется великая вѣра въ народъ, какъ носителя нравственной идеи. Какъ пѣснь Сольвейгъ указываетъ путь

Перь Гинту, такъ пѣсня Франціи, поющая въ душѣ молодежи, указала ей путь въ вѣрѣ.

Шарль Пеги въ своей мистеріи пытается выразить на безыскусственномъ языкѣ народныхъ молитвъ христіанскій инстинктъ, все еще живущій въ душѣ народа.

„Господи, Иисусе, Иисусе, Иисусе, теперь твой народъ алчетъ, и ты не насыщаешь твоего народа. Теперь въ этой странѣ, въ твоей христіанской Лотарингіи, въ твоей христіанской Франціи, твой народъ алчетъ. У него нѣтъ хлѣба духовнаго. И чтобы насытить его, чтобы утолить тотъ и другой голодь его, чтобы дать ему хлѣбъ плоти и хлѣбъ духа, неужели ты не явишься среди насъ?“

Въ этихъ словахъ Жанны д'Аркъ нельзя не ощутить трагедіи всей современной Франціи.

Ея слова полны великой любви къ Франціи и пламенной вѣры въ ея возрожденіе. И это чувство народной, крестьянской Франціи особенно проявляется, когда она говоритъ о башняхъ „Notre Dame“, о Парижѣ, „столицѣ французскаго королевства, находящейся подъ покровительствомъ Богородицы и великой Святой Женевиэвы“, о Реймсѣ, „градѣ вѣнчающа на царство, прекраснѣйшемъ градѣ Франціи“. Только Верленъ умѣлъ въ такой глубокой и проникновенной формѣ выразить вѣру, живущую въ душѣ народа.

Такимъ образомъ, три признака характеризуютъ нео-католическое движеніе въ молодежи: во-первыхъ, *его реалистическій характеръ*, напоминающій средневѣковой „мистическій реализмъ“; объектъ вѣры мыслится не какъ туманная абстракція, какъ идея, а какъ реальность. „Le divin est un sens supérieur du réel“—эти слова одного теоретика молодежи прекрасно характеризуютъ ея реалистическую тенденцію; во-вторыхъ,—реакція противъ римской идеи принудительнаго универсализма, и, въ-третьихъ, національный, народническій характеръ этого движенія (стремленіе къ синтезу національной идеи и христіанскаго универсализма).

#### IV.

Les champs où nos ayeux semaient le blond  
froment,  
Chanteront le retour des bons fils a la Terre  
Et le bourdon des vents au sein des clairières.  
De sa voix millénaire  
Sonnera le buccin d'amour et de printemps.  
(G. Turpin, La chanson de la vie.)

Появленіе народническихъ настроеній и противопоставленіе интеллигенціи, проникнутой индивидуализмомъ и безпощаднымъ рационализ-

момъ, народу, какъ хранителю національной идеи, составляетъ одинъ изъ самыхъ любопытныхъ признаковъ момента.

Вотъ что пишетъ молодой писатель Гастонъ Риу <sup>1)</sup>, разсматривая причины временнаго помраченія національной идеи во Франціи: „Нѣтъ, французскій народъ въ своей массѣ не виновенъ въ этомъ: рабочіе и крестьяне остались достойны имени француза.

„Виноваты мы, интеллигенты (*les intellectuels*), чья мысль отклонилась отъ прямого пути. Соображенія личной выгоды одержали верхъ надъ нашимъ героизмомъ. Мы не сумѣли воспользоваться урокомъ нашихъ послѣднихъ кризисовъ, мы не исполнили долга французовъ“ („*nous avons manqué au devoir français*“). Это публичное покаяніе передъ народомъ указываетъ на нарожденіе новаго типа интеллигента, уже не смотрящаго на народъ сверху внизъ. Традиционное аристократическое отношеніе интеллигенціи къ народу проявляется уже съ XVI вѣка, и дю Баллэ выражалъ настроеніе общее писателямъ „Плеяды“, когда писалъ:

„Миѣ нравится только то, что претитъ грубому народному вкусу“ <sup>2)</sup>. Семнадцатый вѣкъ и просвѣтителі не измѣнили этой точки зрѣнія на народъ. „*Lorsque la populace se mêle de raisonner, tout est perdu*“— говоритъ Вольтеръ. Народничество, какъ идея долга передъ народомъ и, вообще, какъ идеализація народа, совершенно чуждо и французской литературѣ XIX вѣка. Ничего подобнаго той гуманной или религіозно-моральной точкѣ зрѣнія, которая проникаетъ русскій реализмъ отъ гоголевской „Шинели“ до религіи „Униженныхъ и оскорбленныхъ“ Достоевскаго, нельзя найти во французскомъ реализмѣ. Какая презрительная и высокомерная усмѣшка чувствуется у Флобера, когда онъ рисуетъ типъ мелкаго мѣщанина въ „*Bouvard et Pécuchet*“ и когда онъ издѣвается надъ „буржуазной глупостью“. Бальзакъ рисуетъ крестьянъ мелкими хищниками, узко-эгоистичными, лишенными всякихъ нравственныхъ и идейныхъ побужденій. Зола (въ „*La Terre*“) и Мопассанъ остались вѣрными этому антиидеалистическому изображенію деревни и крестьянина. Для Зола крестьянинъ является воплощеніемъ животнаго, мелкаго эгоизма и грубыхъ плотскихъ инстинктовъ, подавляющихъ въ немъ всякую духовность. Мопассанъ безъ этого романтическаго преувеличенія власти плоти нарисовалъ рядъ типовъ крестьянъ, мелкихъ собственниковъ, батраковъ и хозяйственныхъ мужичковъ, грубыхъ, хитрыхъ, мелочно эгоистичныхъ и какъ бы безликихъ, совершенно подавленныхъ властью земли.

<sup>1)</sup> *Gaston Riou*. „Aux écoutes de la France qui vient“.

<sup>2)</sup> „Rien ne me plaît, fors ce qui peut déplaire  
Au jugement du ruro populaire“.

Причину этого полного отсутствія народничества слѣдуетъ искать не только въ историческихъ и социальныхъ условіяхъ французской жизни (раннемъ освобожденіи крестьянъ и превращеніи ихъ въ крестьянъ-собственниковъ), но, прежде всего, въ той римской универсальной идеѣ, которая сдѣлала невозможнымъ эмпирической націонализмъ и которая не позволяла превозносить свой народъ передъ другими. Но этотъ гипертрофированный универсализмъ долженъ былъ вызвать реакцію, которая и проявилась особенно ярко въ моментъ крушенія космополитическихъ идеаловъ и возрожденія національной идеи. Кризисъ рационализма и позитивизма, являющагося господствующимъ міросозерцаніемъ интеллигенціи девяностыхъ годовъ, вызвалъ у молодого поколѣнія кризисъ также вѣры въ социальную миссію интеллигенціи и появленіе народническихъ настроеній. Такое настроеніе переживаетъ, на примѣръ, Жанъ Кристофъ, герой извѣстнаго романа Ромэнъ-Роллана, когда, прибывъ въ Парижъ, онъ чувствуетъ „запахъ смерти“, царящей надъ всей буржуазной культурой, когда онъ сознаетъ внутреннюю пустоту и бесплодный развратъ мысли и чувства, проникающій всю современную литературу и искусство. Но Жанъ Кристофъ сознаетъ, что это только накипь и что за этимъ размалеваннымъ трупомъ французской буржуазной культуры, заражающимъ атмосферу, есть еще французскій народъ, тотъ народъ, „который составляетъ одно цѣлое съ землей, который видѣлъ смѣну столькихъ завоеванныхъ расъ, столькихъ властителей и который самъ не проходитъ“.

Я уже указалъ на нѣкоторые народническіе элементы въ движеніи „jeune France“, противопоставляющемъ интеллигенціи народъ, какъ носителя религіозной идеи. Другую, тѣсно связанную съ первой, народническую струю представляетъ кельтофильское движеніе, которое дало недавно поводъ къ спору кельтофиловъ съ романистами. Вопросъ о кельтскомъ или романскомъ элементѣ французской національности приобрѣлъ чрезвычайно острое значеніе въ связи съ переоцѣнкой римскаго принудительнаго универсализма. Во главѣ кельтофильскаго движенія стоитъ рядъ молодыхъ ученыхъ и поэтовъ (какъ Пелтье, Александръ Мерсеро, Кросъ, Вандерпиль). Это теченіе недавно организовалось въ „кельтійскую лигу“, обладающую своимъ органомъ—*Revue des Nations*, который, кромѣ чисто теоретическихъ вопросовъ, защищаетъ, на примѣръ, идею франко-русскаго союза съ чисто этнической точки зрѣнія (въ славянахъ онъ видитъ народъ, родственннй кельтамъ).

Мнѣ лично пришлось присутствовать при необыкновенно страстной схваткѣ между однимъ изъ пионеровъ „кельтизма“, молодымъ ученымъ Лепелтье, и критикомъ Гійомомъ Апполинэромъ, защищавшимъ романскую идею. Споръ велся въ очень страстномъ тонѣ, и противники не

разъ обмѣнялись такими лестными эпитетами, какъ „латинствующіе некроманты“ или „кельтоманы“.

Первый, кто сталъ утверждать, что Франція—латинская нація, тотъ,—утверждаютъ кельтофилы,—породилъ одно изъ самыхъ вредныхъ заблужденій. Благодаря этому, повѣрили, что Франція создана римскимъ завоеваніемъ Галліи, что она происходитъ отъ разлагающагося латинства, между тѣмъ какъ ей не менѣе 2500 лѣтъ. Благодаря этому роковому заблужденію, между Франціей и ея кельтійскими предками воздвиглась „китайская стѣна“. Особенно возмущаются кельтофилы культомъ Юлія Цезаря—„le proconsul assassin“, какъ они его называютъ, и которому они противопоставляютъ Верцингеторикса, какъ борца за національную свободу <sup>1)</sup>. Отношеніе кельтофиловъ къ Цезарю очень напоминаетъ (*mutatis mutandis*) отношеніе славянофиловъ къ Петру. Они упрекаютъ Цезаря въ узкомъ самолюбіи, въ непониманіи очень сложной и древней культуры Галліи, въ которой онъ видѣлъ только варварство.

Совершенно невѣрно, будто галлы быстро подчинились романизации,—говорятъ кельтофилы, основательно указывая, что римляне были изгнаны изъ Галліи не только франками Хлодвига, но въ гораздо большей степени самими галлами, борьба которыхъ съ римлянами продолжалась цѣлыхъ четыре вѣка (наиболѣе извѣстныя изъ этихъ попытокъ освобожденія связаны съ именами Виндекса, Цивилиса, Марика постумскаго и Викторіи; наконецъ, съ возстаніемъ Багаудовъ). Съ другой стороны, анализъ „романскаго нарѣчія“ (являющагося прямымъ предкомъ французскаго языка) указываетъ на присутствіе въ немъ огромнаго числа кельтскихъ корней. Большинство грамматиковъ, объяснявшихъ происхожденіе французскихъ словъ отъ латинскихъ корней, совершенно не знали кельтскаго языка и поэтому они дали невѣрное объясненіе происхожденія очень многихъ французскихъ словъ. „Романизировался лишь языкъ клириковъ, писателей, гуманистовъ, и притомъ вовсе не въ такой степени, въ какой это утверждаютъ, ибо французскій синтаксисъ является полной противоположностью латинскому“.

Галлія осталась въ душѣ кельтской,—утверждаютъ кельтофилы,—и наша національная самобытность основывается именно на кельтійскомъ гении народа. Между тѣмъ, невѣрная оцѣнка значенія романизации лишила французскій патриотизмъ его этнической подосновы <sup>2)</sup>. Вліяніе римской традиціи на Галлію, по мнѣнію кельтофиловъ, было всегда тормозомъ культурнаго, социальнаго и политическаго прогресса. Такъ, закрѣпощеніе крестьянъ совершилось подъ вліяніемъ римскаго колоната

<sup>1)</sup> „Nous maudissons sans cesse la conquête romaine, nous, qui n'avons qu'un rêve: reprendre la revanche définitive de Vercingétorix“ (*Revue des Nations*, Mai—Juin, 1913).

<sup>2)</sup> Такая конкретная этническая подоснова существуетъ въ русскомъ патриотизмѣ (славянство) и, вообще, въ патриотизмѣ почти всѣхъ европейскихъ народовъ.

(это утверждение, конечно, сильно преувеличиваетъ значеніе юридическаго фактора и игнорируетъ чисто экономическія причины этого явленія). Тѣмъ не менѣе, Галлія мало-по-малу освобождалась отъ чуждой ей традиции, и XIII вѣкъ знаменуетъ собою эпоху блестящаго расцвѣта кельтизма въ искусствѣ (готика и живопись примитивовъ) и въ политическихъ формахъ (демократическій характеръ монархіи; свобода профессиональныхъ организацій). Но пятнадцатый вѣкъ является эпохой торжества римской традиции. Монархія, опираясь на идею римскаго права (юристы тулузской школы), отказывается отъ своихъ демократическихъ традицій и стремится подавить всѣ общественныя и политическія свободы. Возникаетъ глубоки расколъ между интеллигенціей, проникнутой латинской традиціей, и народомъ, сохранившимъ кельтскую идею.

Главная причина неудачи революціи, съ точки зрѣнія кельтизма, заключается въ томъ, что она не поняла своей миссиі—разрушить политическое и социальное дѣло Ренессанса и вернуться къ національной кельтской традиціи XIII вѣка. Увлечение *римской идеей принудительнаго универсализма* было причиной всѣхъ ея эксцессовъ, которые привели къ наполеоновскому цезаризму, являющемуся возрожденіемъ римской империалистической идеи.

Сторонники кельтизма не ограничиваются исторической критикой римской идеи и выступаютъ со своей собственной политической платформой:

„Нужно освободить Галлію, освободить личность, семью, общины, корпораціи и провинціи отъ гнетущей опеки государственности, отъ подавляющей власти денегъ“.

„Нужно измѣнить законы, обычаи прежней кельтской расы, примѣнить ихъ къ XX вѣку, замѣнить ими всѣ учрежденія, всѣ кодексы, враждебные ея духу“.

Борьба кельтофиловъ и романистовъ во многомъ напоминаетъ борьбу славянофиловъ и западниковъ. Какъ у кельтофиловъ, такъ и у славянофиловъ мы наблюдаемъ ту же романтическую идеализацію народныхъ обычаевъ, то же противопоставленіе интеллигенціи народу, какъ хранителю національной идеи. Несмотря на явную преувеличенность своей „романофобіи“, кельтофильство должно, несомнѣнно, способствовать возрожденію интереса къ кельтской культурѣ и болѣе правильному освѣщенію римскаго вліянія. Но главный интересъ кельтофильское движеніе представляетъ, какъ попытка освободиться отъ римской идеи принудительнаго универсализма. Христіанскій и католическій инстинктъ французскаго народа является, съ точки зрѣнія кельтофиловъ, лишь дальнѣйшимъ развитіемъ кельтскаго религіознаго сознанія (кельтофилы доказываютъ это ссылкой на цѣлый рядъ документовъ, вродѣ знаме-



нитыхъ „Триадъ“, приписываемыхъ Аивелину Сіону, и „Книги Бардизма“, историческая подлинность которыхъ подвержена сомнѣнію). У Рима католицизмъ заимствовалъ лишь папство и идеалъ всемірной теократіи—тотъ духъ принудительнаго универсализма, который долженъ быть замѣненъ кельтской идеей свободнаго общенія на почвѣ признанія абсолютныхъ правъ личности. Въ противовѣсъ римскому культу формы, матеріи и силы, кельтизмъ утверждаетъ религію духа и свободы (т.-е. идею христіанскую).

## V.

Міровая война объединила Францію въ одномъ всенародномъ порывѣ, но это объединеніе эмпирическое и потому преходящее; истинное и болѣе глубокое единство Франціи основывается на той волѣ къ Ренессансу, которой теперь охвачена Франція. Какъ выразился философъ Бергсонъ, эта воля „является вдвойнѣ счастливымъ чудомъ, которое свидѣтельствуетъ о возстановленіи нашего моральнаго единства и доказываетъ, что геній Франціи попрежнему живъ“. И эта воля не можетъ не восторжествовать надъ тѣмъ историческимъ рокомъ, надъ тѣмъ духомъ декаданса, который еще недавно, казалось, тяготѣлъ надъ Франціей, ибо въ своей основѣ эта воля имѣетъ религіозный характеръ. Въдъ всякій, кто стремится преодолѣть себя, не только количественно но и качественно, тотъ, можетъ быть, безсознательно, прагматически становится на путь религіозный, онъ утверждаетъ цѣнность высшую, чѣмъ его я. Религіозная идея, которая присуща новому французскому патриотизму и которая еще только смутно чувствуется сердцемъ, должна быть осознана и раскрыта. И эта проблема синтеза національной идеи и религіознаго универсализма имѣетъ не только национальное, но и міровое значеніе: она является проблемой культуры будущаго. Конечно, этотъ синтезъ не можетъ быть осуществленъ въ одинаковыхъ формахъ различными народами, но именно Франція и Россія должны придать ему наиболѣе универсальное, общечеловѣческое значеніе, ибо самая историческая миссія этихъ странъ имѣетъ универсальный характеръ (освобожденіе славянъ, защита правъ нейтральныхъ странъ).

Но для воплощенія своей миссіи Франція должна разстаться съ римской идеей принудительнаго универсализма, съ этой опасной химерой, которая уже со временъ Карла VIII отклоняла Францію отъ ея національной миссіи. И такой переоцѣнкѣ можетъ содѣйствовать вліяніе русскихъ моралистовъ и такихъ писателей, какъ Толстой и Достоевскій. Франція должна теперь рѣшительно вступить на путь осуществленія идей правъ человѣка въ ихъ послѣднемъ, религіозномъ значеніи.

Мишлэ справедливо назвалъ Францію страной непобѣдимой надежды, страной, которой достаточно крупницы вѣры, чтобы возродиться отъ самыхъ тяжелыхъ бѣдствій.

„Когда наши галльскіе крестьяне (говорить онъ) на время изгнали римлянъ и сдѣлали изъ Галліи имперію, они выгравировали на своей монетѣ первое и послѣднее слово этой страны: надежда“.

И сейчасъ въ утомленномъ и вѣчно юномъ и любвеобильномъ сердцѣ Франціи трепещетъ та же великая надежда; точно дуновение молодости проносится по старой территоріи Галліи, усѣянной обломками столькихъ цивилизацій. Пусть еще новыя и новыя развалины нагромождаютъ неистовые гунны—этой вѣры и надежды они побѣдить не могутъ.

Война потрясла Францію въ самыхъ сокровенныхъ глубинахъ, она зажгла въ ней тотъ огонь вѣры, въ которомъ сгорить все, что было мертвого и разлагающагося во французской культурѣ. Пусть же умретъ ветхая Франція, рационалистическая и скептическая, дочь разлагающагося латинства, для того, чтобы воскресла Франція вѣры, Франція крестоносцевъ, святыхъ Людовиковъ и апостоловъ человѣчества.

И если Ренессансъ XVI в. былъ индивидуалистическимъ и языческимъ, то новый ренессансъ будетъ религиознымъ, національнымъ и все-народнымъ; онъ одинъ воссоздастъ внутреннее единство Франціи и положитъ предѣлъ тому раздвоенію между личной свободой и общественностью, между культурой и вѣрой, которое являлось нашей великой западно-европейской болѣзнью. И этотъ ренессансъ будетъ истиннымъ духовнымъ реваншемъ Франціи надъ пангерманизмомъ. Въ этомъ ея миссія и залогъ ея побѣды.

† Г. Тастевенъ.

## Изъ исторіи прусской реакціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Дневникъ Фарнгагена фонъ-Энзе. <sup>1)</sup>

### I.

Записки и дневники политическихъ дѣятелей наиболѣе ярко могутъ для насъ отразить прошедшія событія политической исторіи. Точныя данныя статистики, холодныя формулы дипломатическихъ документовъ гораздо болѣе важны для объективной картины минувшаго. Но онѣ даютъ намъ только внѣшнее описаніе того, что было. Постигнуть душу живую, понять и почувствовать дѣятелей прошлаго мы можемъ только изъ болѣе интимныхъ страницъ воспоминаній, дневниковъ, писемъ. Безъ писемъ и мемуаровъ Токвиля трудно было бы представить себѣ Францію сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ. Безъ дневника Фарнгагена фонъ-Энзе у насъ не было бы ключа къ пониманію настроеній прусскаго общества тридцатыхъ, сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ.

Фарнгагенъ далеко не объективенъ. На него нельзя всегда полагаться при оцѣнкѣ значенія какого-нибудь явленія въ жизни Европы. У него свои симпатіи и антипатіи. Онъ не любитъ, напримѣръ, Гладстона и говоритъ о немъ по поводу „Studies on Homer and the Homeric age“: „Я узнаю ученаго педанта, ограниченную голову безъ всякой мысли и полета.“ <sup>2)</sup>

Онъ не понялъ и не разглядѣлъ начинавшаго свою карьеру Бисмарка, смѣшавъ его съ общей массой безцвѣтныхъ прусскихъ реакціонныхъ сановниковъ. Онъ пишетъ, напримѣръ, отъ 10 сентября 1851 г.: „Г-нъ фонъ - Бисмаркъ - Шёнгаузенъ выступилъ 23 августа, какъ дѣйствительный представитель Пруссіи, въ Союзномъ совѣтѣ. Роховъ уходитъ. Одинъ дуракъ на мѣсто другого. Отлично!“ <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> *Varnhagen v. Ense: Tagebücher*, Bd. 1—6, Hamburg, 1861—62, Bd. 7—8, Zurich, 1865, Bd. 9—14, Hamburg, 1860—1870.

<sup>2)</sup> *Tagebücher*, Bd. 14, S. 358, 25/вш 58. Въ дальѣйшемъ цитирую кратко—томъ и страницю.

<sup>3)</sup> VIII, стр. 327. „Ein Dummer für den andern“.

Не всегда будучи объективно справедливымъ, Фарнгагенъ, однако, всегда субъективно правъ, такъ какъ всегда искрененъ. Онъ дѣйствительно думаетъ то, что говорить, и подмѣчаетъ то, о чемъ говорятъ другіе. Ошибаясь въ оцѣнкѣ отдѣльныхъ людей, онъ рѣдко ошибается въ оцѣнкѣ общественнаго настроенія, является тонкимъ наблюдателемъ тѣхъ переживаній общества и правительства, которыя вокругъ него происходятъ. Фарнгагена иногда обвиняютъ въ личной озлобленности, въ томъ, что онъ въ своемъ дневникѣ сводитъ счеты, мститъ дѣятелямъ прусскаго правительства за то, что самому ему удалось сыграть только незначительную роль. Врядъ ли эти обвиненія справедливы. Фарнгагенъ былъ слишкомъ большимъ философомъ для того, чтобъ личная карьерная неудача могла найти себѣ отраженіе въ его взглядахъ на европейскую исторію. Неудачи его личной карьеры уже потому не могли создать его политическихъ взглядовъ, что не въ одной политикѣ для него смыслъ жизни. Тонкіе литературные вкусы, любовь къ античной поэзіи, увлеченіе неизвѣстными тогда въ Европѣ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, удивительный языкъ собственныхъ его писаній—служатъ залогомъ того, что литература представляла для него не меньшую цѣнность въ жизни, чѣмъ политика.

Въ Фарнгагенѣ есть мудрость спокойствія, которая позволяетъ ему стать выше мимотекущихъ мелочей политической повседневности.

„Богъ умѣе меня“—повторяетъ онъ слова своей раньше умершей жены, талантливой Рахили, въ случаяхъ, когда самъ онъ отказывается понимать поступки реакціонныхъ сферъ. <sup>1)</sup>

Любимая его мысль, служащая ему постояннымъ утѣшеніемъ,—та, что переживаемое Германіей не ново. Такъ же плохо было въ другихъ странахъ, и стало лучше. Значитъ, и въ Германіи станетъ легче жить.

11 июня 1846 г. онъ записываетъ въ своемъ „Дневникѣ“: „Читалъ переписку Вольтера за 1763 и 1764 года. Какія времена! Какая нищета, какое безправіе и угнетеніе! Пусть посмотрятъ на теперешнюю Францію! Отсюда можно надѣяться, что и наше печальное состояніе когда-нибудь улучшится. Только я-то до этого не доживу“. <sup>2)</sup>

Рѣзкія и ѣдкія сужденія Фарнгагена о прусскихъ государственныхъ дѣятеляхъ не означаютъ озлобленія противъ Пруссіи. Пруссию Фарнгагенъ любитъ; нѣмецкій и даже именно прусскій патріотизмъ есть у него несомнѣнно.

Разсуждая о Голландіи, онъ не видитъ для нея иного будущаго, какъ присоединиться къ Пруссіи. <sup>3)</sup> Еще въ 1826 г. онъ привѣтствуетъ

<sup>1)</sup> VI, 214.

<sup>2)</sup> III, 356.

<sup>3)</sup> I, 13, отъ 1836 г.

попытку замѣнить французское „M-He“ нѣмецкимъ „Fräulein“, а въ биографіи Блюхера сознательно говорить не „Armeekorps“, а „Heertheil“. <sup>1)</sup>

Возвращаясь въ Пруссію въ 1837 г., Фарнгагенъ пишетъ: „Я привѣтствовалъ съ восхищеніемъ наши орлы, наши цвѣта, наши мундиры, наши превосходныя дороги, хорошія почтовые учрежденія, нашу трудолюбивую, воздѣланную и во многихъ отношеніяхъ столь процвѣтающую страну. Я чувствовалъ, какъ въ моемъ сердцѣ бьется радость при мысли о королѣ, всемъ его домѣ, всемъ существующемъ порядкѣ, который не всегда же будетъ столь филистерскимъ и когда-нибудь сможетъ опять стать великимъ (genial)“. <sup>2)</sup>

## II.

Присматриваясь къ реакціоннымъ кругамъ прусскаго общества: дворянству, военнымъ, центромъ которыхъ былъ королевскій дворъ,—Фарнгагенъ прежде всего ужасается отсутствію въ нихъ опредѣленнаго твердаго политическаго настроенія, ясныхъ навыковъ властвованія, живыхъ силъ. Онъ видитъ умираніе политическихъ инстинктовъ, и это его пугаетъ болѣе всего.

„Хоть какое-нибудь правительство—и я буду доволенъ!“—воскликаетъ въ мартѣ 1848 г. прусскій министръ Каницъ. <sup>3)</sup> Эти слова Каница приложимы ко всему дневнику Фарнгагена. Онъ не видитъ никакихъ живыхъ силъ въ правительствѣ.

„Въ политикѣ отвратительно, — записываетъ онъ въ концѣ августа 1835 г.— Въ Испаніи дико! Во Франціи безумно! Въ Германіи вяло! Только въ Англии хорошо“. <sup>4)</sup>

„Въ 1806 г. наше положеніе не было болѣе отчаяннымъ, неразумнымъ и пустымъ, чѣмъ теперь. Мы не имѣемъ никакого направленія, никакой цѣли, никакой воли. Мы живемъ производствомъ прежнихъ силъ и прежняго духа и беспокоимся, что и эти силы еще слишкомъ живучи“. <sup>5)</sup>

„Самое худшее въ Пруссіи—это, что все застываетъ, что ни одному направленію не слѣдуютъ съ жизнью и жаромъ, что нигдѣ нѣтъ рѣшительнаго преимущества, явной выгоды, что и наиболѣе благопріятствующіе остаются далеки отъ радостнаго стремленія и сильнаго наслажденія. Что удастся, то удастся изъ общей силы жизни, безсознательно и ненамѣренно; все—только матеріаль для будущаго“. <sup>6)</sup>

<sup>1)</sup> *Varnhagen v. Ense: Preussische Geschichte*, Bd. II, Leipz., 1868, S. 82.

<sup>2)</sup> I, 58.

<sup>3)</sup> IV, 358.

<sup>4)</sup> I, 3.

<sup>5)</sup> I, 9.

<sup>6)</sup> I, 24.

Положение это надолго остается безъ переменъ. Въ началѣ 50-хъ годовъ Пруссія такъ же ждетъ своего будущаго, какъ и въ срединѣ 30-хъ. „Особенно безнадежно наше положеніе отъ того общаго затмѣня, которое всюду распространяется и сдѣляется скоро угрожающимъ. Во всѣхъ областяхъ ничего больше не значатъ духъ и талантъ, горячая способность и истинное достоинство, а только низкое усердіе, раболѣпное настроеніе, ханжество. Если все это есть у знатныхъ, у дворянъ, они имѣютъ рѣшительный перевѣсъ надъ другими, и стоитъ быть обыкновенной посредственностью, чтобъ рѣшительно выдвинуться въ любой области. Въ войскѣ, въ дипломатіи, въ церкви, въ судѣ, въ управленіи—всюду на первомъ планѣ эти посредственности и бездарности. Естественно, что они враждебны духу и таланту, какъ и всякой самостоятельности“. 1) Сила этой цитаты ослабляется для насъ заключительнымъ замѣчаніемъ: „Цвѣтъ нашей дипломатіи составляютъ: въ союзномъ совѣтѣ—Бисмаркъ-Шёнгаузенъ, въ Петербургѣ—Теодоръ фонъ-Роховъ“. Повторяю, что Бисмаркъ—рѣдкій примѣръ политической близорукости Фарнгагена. Ошибка въ оцѣнкѣ Бисмарка не является для него характерной. Наоборотъ, было бы доказательствомъ совершенно исключительной политической прозорливости, если бы тогда, въ 1852 году, Фарнгагенъ понялъ и оцѣнилъ личность будущаго объединителя Германіи. Ошибка его — только показатель ненадежности нашихъ мнѣній о личной цѣнности того или иного политическаго дѣятеля. Общее заключеніе Фарнгагена о Германіи 40-хъ годовъ говоритъ намъ все о томъ же безсиліи реакціи, отсутствіи политическаго творчества.

„Большое счастье, что намъ не предстоитъ никакого серьезнаго испытанія, что противъ насъ нѣтъ ни Наполеона, ни свѣжей революціи, потому что революція 1830 г. уже сгнила“. 2) Фарнгагенъ былъ глубоко правъ, потому что „свѣжей“ революціи 1848 г. Германія не смогла противиться.

Во всѣхъ правящихъ слояхъ прусскаго общества Фарнгагенъ видитъ то же политическое безсиліе и вялость.

Что такое король, стоящій во главѣ этого общества? Фарнгагенъ отвѣчаетъ слѣдующей шуткой на этотъ вопросъ: „Фридрихъ-Вильгельмъ III былъ на  $\frac{3}{4}$  солдатъ, на  $\frac{1}{4}$  попъ; Фридрихъ-Вильгельмъ IV—на  $\frac{1}{4}$  солдатъ, на  $\frac{1}{4}$  попъ, на  $\frac{1}{4}$  любитель искусствъ, на  $\frac{1}{4}$  всякая всячина (Allerlei)“. 3)

По поводу скромныхъ размѣровъ амнистіи 1839 г. Фарнгагенъ записываетъ ходившіе въ обществѣ толки, что это „вполнѣ соотвѣству-

1) IX, 138, 28 марта 1852 г.

2) I, 333, 1841 г.

3) II, 33, 11 марта 1842 г.

еть характеру короля“ (Фридриха-Вильгельма III): „ничего великаго, свободнаго, свѣжаго, никакой амнистіи для политическихъ преступленій“. <sup>1)</sup>

Королю соотвѣтствуютъ его окружающіе. Ансильонъ, скончавшійся въ 1837 г., былъ „не государственный человѣкъ, а придворный“. <sup>2)</sup> Такковы и всѣ остальные министры. Нѣтъ людей, пригодныхъ стоять во главѣ правительства. „Порода изсякла, завода ихъ больше нѣтъ; мы банкроты по части знаній и проникновенія—мы, хваставшіе нѣкогда тѣмъ, что превосходимъ въ этомъ отношеніи всѣ государства“. <sup>3)</sup>

Ко всѣмъ прусскимъ государственнымъ людямъ примѣнимо сравненіе Меттерниха съ Дагерромъ, такъ понравившееся Фарнгагену. Дагерръ изобрѣлъ свѣтовые снимки (дагерротипы), а Меттернихъ для всей Германіи изобрѣлъ темную камеру (camera obscura). <sup>4)</sup>

Характеренъ рассказъ о томъ, что тайный совѣтникъ Гассенпflugъ вѣрить въ существованіе вѣдьмъ. „Будутъ ли ихъ сжигать на кострахъ?“ — „Почему нѣтъ? Можетъ дойти и до этого“,—дается совершенно серьезный отвѣтъ. <sup>5)</sup>

Люди, окружающіе короля, не цѣнятъ науки и университетовъ. Берлинскій университетъ, по слухамъ, долженъ быть выселенъ изъ стараго своего зданія только потому, что это зданіе когда-то было королевскимъ замкомъ. <sup>6)</sup> При дворѣ радуются смерти ученаго Ганса, потому что наконецъ „развязались“ съ безпокойнымъ человѣкомъ. <sup>7)</sup>

Профессора же, не доставляющіе безпокойствъ правительству,—малоавторитетны.

— Что такое религія?—спрашиваетъ въ Галле проф. Толукъ.—Безусловное подчиненіе Иисусу Христу.

— Что такое Толукъ?—спрашиваютъ въ свою очередь студенты, и сами отвѣчаютъ: „безусловное подчиненіе Эйхгорну“ (министру народнаго просвѣщенія). <sup>8)</sup>

Профессоровъ, безпрекословно подчиняющихся министру, не уважаютъ именно потому, что самихъ министровъ не уважаютъ.

Электрическій телеграфъ (тогда поражающее техническое новшество!), проведенный изъ Потсдама въ Берлинъ, называютъ звонкомъ, чтобъ король могъ имъ вызывать министровъ. <sup>9)</sup> На вечерѣ у Эммы

<sup>1)</sup> I, 153.

<sup>2)</sup> I, 51.

<sup>3)</sup> III, 302, 1846 г.

<sup>4)</sup> II, 77.

<sup>5)</sup> I, 237.

<sup>6)</sup> II, 166, 1843 г.

<sup>7)</sup> I, 129, 1839 г.

<sup>8)</sup> II, 309.

<sup>9)</sup> IV, 2.

Гервегъ говорятъ, что назначеніе Савини <sup>1)</sup> премьеромъ равносильно тому, какъ если бы австрийцы назначили генерала Мака главнокомандующимъ. <sup>2)</sup>

Прусскіе дворянскіе круги, прусское офицерство, окружающее короля и поддерживающее его правительство, вызываютъ рѣзко-отрицательную оцѣнку Фарнгагена. „Ужасенъ нашъ большой свѣтъ!—восклицаетъ онъ послѣ вечера у русскаго посланника 28 марта 1847 г.:—все тѣ же лица, все тотъ же разговоръ, безъ прелести и жизни“. <sup>3)</sup>

Между тѣмъ, Фарнгагенъ вовсе не предвзятый врагъ всякаго аристократизма. Онъ видитъ въ истинной аристократіи больше хорошаго, чѣмъ въ среднемъ сословіи, въ буржуазіи, въ мѣщанствѣ.

„Какъ ошибочно обычное, всюду распространенное мнѣніе о томъ, что такъ называемое среднее сословіе представляетъ наибольшую цѣнность, образуетъ подлинную силу государства, прочнѣйшую опору нравамъ и т. д. Нѣтъ, все въ немъ идетъ на убыль, все становится блѣднымъ и мелкимъ, гдѣ оно царствуетъ. Въ изобилии богатства и власти, въ бѣдности и приниженности—въ обѣихъ противоположностяхъ чаще и легче развивается великое и прекрасное, чѣмъ въ жалкомъ среднемъ сословіи“. <sup>4)</sup> Эта тирада противъ мѣщанства, подъ которой могъ бы подписаться Герценъ, показываетъ, что Фарнгагенъ не былъ слѣпымъ защитникомъ либеральной буржуазіи противъ реакціонной аристократіи. И тѣмъ не менѣе, прусскую правящую аристократію онъ презираетъ, какъ политическую и общественную силу. Нападенія на правительственные круги относятся къ аристократіи, потому что, несмотря на увеличивающееся значеніе денегъ и образованности, <sup>5)</sup> аристократія все же стоитъ во главѣ правительства. „Непосредственно послѣ освободительной войны <sup>6)</sup> въ Пруссіи снова наступило господство аристократіи и съ тѣхъ поръ продолжается непрерывно, несмотря на очевидные примѣры противнаго, которые можно было бы привести. Д-ръ Эргардъ рассказываетъ объ одномъ молодцѣ, который, выйдя подвыпивши изъ виннаго погреба и услыхавъ канонаду по случаю взятія Парижа, закричалъ: „Слышите, война кончена, дворяне побѣдили“. Эргардъ полагаетъ, что этотъ молодецъ доказалъ свой глубокій государственный смыслъ“. <sup>7)</sup>

<sup>1)</sup> Знаменитый ученый, но неудачный государственный человекъ.

<sup>2)</sup> Генералъ Макъ, известный по „Войнѣ и миру“ бездарный австрийскій генералъ въ войнѣ 1805 г. съ Наполеономъ.

<sup>3)</sup> IV. 49.

<sup>4)</sup> I, 163, 1840 г.

<sup>5)</sup> I, 118, 1839 г.

<sup>6)</sup> 1813 г.

<sup>7)</sup> I, 28, 1836 г.



## III.

Если программа реакціи осуществляется блѣдно и вяло, то можетъ быть сама по себѣ она ярка и привлекательна? Посмотримъ, какъ ее рисуесть Фарнгагенъ.

„Короля можно сравнить съ императоромъ Юліаномъ,—пишетъ онъ въ 1844 году,—подобно тому, какъ послѣдній пытался оттъснить христіанскій міръ въ изжитое язычество, такъ первый хочетъ отодвинуть нынѣшній міръ въ средніе вѣка“. <sup>1)</sup>

Но формы язычества уже исчезли, когда Юліанъ хотѣлъ ихъ возстановить. Такъ и подлинныя средніе вѣка уже пережиты. Нѣтъ больше истинной религіи, истиннаго руководства короля всей народной жизнью. Остались на поверхности только трупы прежнихъ идей. Неискренность, ханжество, острая ненависть—вотъ чувства, на которыя осуждены дѣятели реакціи. Эти чувства только и видить вокругъ себя Фарнгагенъ.

Религіозная жизнь современнаго протестантизма не заключаетъ въ себѣ ничего подлинно живого. „Ближайшій великій религіозный прогрессъ придетъ не отъ протестантизма, а отъ католицизма—въ немъ больше творческихъ силъ“. <sup>2)</sup> Эти слова написаны въ 1836 г. Восемь лѣтъ спустя Фарнгагенъ ничего не ждетъ и отъ католицизма. „Европейское человѣчество въ его цѣломъ... идетъ къ небывалому кризису, безпокойно ищетъ новыхъ формъ жизни. Движеніе это всеобщее, и каждый, кто хотѣлъ бы даже ему препятствовать, способствуетъ ему. Не только земля измѣняется, но и небо, наша вѣра, наша надежда ищутъ новыхъ точекъ опоры. . . . . рядомъ съ прогнившимъ католицизмомъ, въ ядовитой порчѣ находится и протестантизмъ“. <sup>3)</sup>

Религію стараются оживить правящіе круги, но не могутъ, потому что истинной вѣры въ нихъ нѣтъ. Она замѣняется лицемѣріемъ и ханжествомъ. Строгія рѣчи осужденія противъ развода идутъ изъ придворныхъ и аристократическихъ круговъ, а между тѣмъ, слѣдятъ ли они сами строго за своей нравственностью? „Они постоянно хвалятся своей набожностью и возвеличиваютъ себя за то, что посѣщаютъ, украшаютъ, строятъ церкви“. <sup>4)</sup> А между тѣмъ, танцовщицы жорле夫скаго балета—одалиски аристократическихъ гаремовъ.

„Король хочетъ помочь аристократіи и религіи—цѣли почтенныя,—но какъ плохо берутся за дѣло и какъ искаженно все выполняется“. <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> II, 393.

<sup>2)</sup> I, 29.

<sup>3)</sup> II, 378, 1844 г.

<sup>4)</sup> I, 66.

<sup>5)</sup> I, 375.

Въ народѣ относятся съ усмѣшкой къ попыткамъ короля. „Въ одномъ паркѣ складываютъ камни. Прохожій спрашиваетъ: „Зачѣмъ эти камни?“ Другой ему отвѣчаетъ: „Развѣ ты не знаешь, король хочетъ замостить дорогу отсюда въ Иерусалимъ“. <sup>1)</sup>

Постоянное недовѣріе къ печатному слову вызываетъ постоянныя строгости цензуры.

„Цензурнымъ горестямъ не видно конца,—жалуется Фарнгагенъ въ 1837 г. <sup>2)</sup>—Цензурныя угнетенія все усиливаются; это позоръ для нашего государства“. <sup>3)</sup> „Прусское запрещеніе праздника книгопечатниковъ произведетъ позорное впечатлѣніе въ Германіи и за границей“. <sup>4)</sup>

Въ 1843 г. король получаетъ адресъ провинціальныхъ чиновъ Познани объ отмѣнѣ цензурныхъ строгостей. Въ отвѣтъ король угрожаетъ никогда не собирать познанскихъ чиновъ, разъ они такъ плохо настроены. <sup>5)</sup>

Недовѣріе къ обществу развивается въ постоянную подозрительность. Всюду представляется крамола, съ которой надо бороться. Въ Ганноверѣ на этой почвѣ разыгрывается знаменитое увольненіе профессоровъ—Дальмана и другихъ—1837 г. Благомыслящіе люди только возмущаются этими мѣрами правительства. Въ Куксгавенѣ въ 1838 г. спущенъ на воду корабль, названный „Профессоръ Дальманъ“ въ честь ганноверскаго ученаго. <sup>6)</sup>

Студентовъ постоянно въ чемъ-то подозрѣваютъ, ведется настоящая „война противъ студентовъ“. <sup>7)</sup> Бѣгство изъ Франкфурга-на-Майнѣ арестованныхъ студентовъ вызываетъ страшное волненіе. <sup>8)</sup>

Бонапартистская попытка въ Страсбургѣ 1836 г., которой французское правительство Луи-Филиппа не придаетъ никакого значенія, при прусскомъ дворѣ возбуждаетъ тревогу.

„Дворъ въ бѣшенствѣ отъ оправданія бонапартистскихъ заговорщиковъ страсбургскими присяжными; кричатъ о безуміи, позорѣ, измѣнѣ, какъ будто подъ угрозой весь порядокъ и законность“. <sup>9)</sup>

На каждомъ шагѣ общество наталкивается на оскорбительныя придирки и мелочныя формальности, вродѣ ревизіи паспортовъ и освидѣтельствующія личности пассажировъ на берлинскомъ вокзалѣ въ Гамбургѣ. <sup>10)</sup>

<sup>1)</sup> I, 330.

<sup>2)</sup> I, 35.

<sup>3)</sup> I, 58.

<sup>4)</sup> I, 163, 1840 г.

<sup>5)</sup> II, 163.

<sup>6)</sup> I, 73.

<sup>7)</sup> II, 238.

<sup>8)</sup> I, 36.

<sup>9)</sup> I, 36, 27 янв. 1837 г.

<sup>10)</sup> VII, 226, 27 июля 1850 г.

Недовѣріе къ обществу переходитъ въ ненависть къ отдѣльнымъ его слоямъ. Отсюда антисемитизмъ, укоренившійся въ придворныхъ сферахъ. Еврею д-ру Бееру не разрѣшаютъ читать лекціи въ университетѣ. <sup>1)</sup> Говорятъ о желаніи короля—освободить евреевъ отъ воинской повинности. <sup>2)</sup>

Всѣ стѣсненія общества вызываютъ только недовольство—начинаются требованія конституціи. Въ началѣ 20-хъ годовъ „единственный конституціонный элементъ въ Пруссіи—это 180 милліоновъ государственнаго долга“. <sup>3)</sup> Позднѣе элементъ конституціи—общественное недовольство. Люди ловятъ каждый намекъ, цѣпляются за каждую соломинку, чтобъ подкрѣпить свою надежду на обновленіе государственнаго строя.

Многознаменательный симптомъ духа времени Фарнгагенъ видитъ въ томъ, что Café Royal на Unter der Linden измѣнилъ свою вывѣску такъ: Café National. <sup>4)</sup>

Читая въ 1827 г., что на новомъ берлинскомъ музеѣ будетъ надпись: „Friedericus Guilielmus III studio antiquitatis omnigenae et liberalium artium museum constituit 1828“, смѣются и толкуютъ эту надпись въ томъ смыслѣ, что въ Пруссіи будетъ конституція 1828 г. <sup>5)</sup>

Когда въ 1841 г. больной ганноверскій король прѣзжаетъ въ Берлинъ, одинъ англичанинъ спрашиваетъ за обѣдомъ, что у него за болѣзнь.

„Il a mauvaise constitution“, отвѣчаетъ Фарнгагенъ, и шутка эта, громко повторенная присутствовавшимъ тутъ же Бакунинымъ, имѣетъ огромный успѣхъ. <sup>6)</sup>

Фарнгагенъ не является, однако, сторонникомъ всякой конституціи, какова бы она ни была. „Причина, почему теперь лучше вовсе не желать конституціи,—говоритъ онъ въ 1841 году,—та, что въ данный моментъ можетъ возникнуть только твореніе аристократической партіи, которое снова пришлось бы разбивать послѣ упорной борьбы. Нельзя теперь ждать чего-либо настоящаго, достаточнаго, умѣлаго въ этомъ направленіи; уже Россія и Австрія послужили бы препятствіемъ“. <sup>7)</sup>

Къ концу 40-хъ годовъ растетъ народное возбужденіе, и для Фарнгагена ясно, что правительственный проектъ конституціи 3 февраля 1847 г. не удовлетворитъ общества.

<sup>1)</sup> I, 292.

<sup>2)</sup> II, 17, 1842 г.

<sup>3)</sup> Preuss. Gesch. Bd. I, S. 228.

<sup>4)</sup> Preuss. Gesch. Bd. II, 134.

<sup>5)</sup> Preuss. Gesch. Bd. IV, S. 321.

<sup>6)</sup> I, 325.

<sup>7)</sup> I, 263.

„Это подобіе парламента (Parlamentchen), слишкомъ слабое и безсильное для выполненія другихъ великихъ задачъ, будетъ, однако, достаточно сильнымъ, чтобъ бороться противъ правительства и въ этомъ находить поддержку общественнаго мнѣнія“. <sup>1)</sup> Три года тому назадъ этого было бы достаточно; теперь—уже мало. <sup>2)</sup> Въ Бреславлѣ продаютъ „конституціонные“ сладкіе пирожки. „Какіе они?“—Внутри ничего нѣтъ. <sup>3)</sup>

Наступаетъ 1848 г. Фарнгагенъ начинаетъ вѣрить въ силу народнаго движенія.

„Les rois s'en vont!“, пишетъ онъ еще въ 1845 г., <sup>4)</sup> и въ этомъ именно видитъ смыслъ развертывающихся теперь событій. „Съ дворянствомъ все покончено“. <sup>5)</sup>

При полученіи извѣстія о февральской революціи въ Парижѣ прусскіе реакціонные круги полны воинственнаго пыла и желанія подавить беспорядки въ сосѣдней странѣ.

„Черезъ 14 дней мы выступаемъ, я думаю, въ походъ“, говоритъ прусскій министръ фонъ-Бодельшвинъ. <sup>6)</sup> При этомъ въ прусскихъ аристократическихъ сферахъ не могутъ скрыть своего злорадства по поводу паденія Луи-Филиппа. Принцъ прусскій говоритъ: „Луи-Филиппъ поднялся благодаря баррикадамъ и палъ благодаря баррикадамъ—все въ порядкѣ“. <sup>7)</sup>

Въ походъ противъ французскихъ революціонеровъ выступить не удалось. Проходятъ мартовскіе дни—побѣда революціи въ самомъ Берлинѣ. Аристократы и офицеры мечтаютъ теперь о контръ-революціи, о „блестящей побѣдѣ войскъ надъ гражданскимъ ополченіемъ“. <sup>8)</sup> Такъ мысли о войнѣ съ Берлиномъ смѣняютъ мечты объ укрощеніи Парижа.

Но войска ненадежны и сами сочувствуютъ революціи. „Солдаты, дѣйствительно, уже братались съ народомъ, пили кофе съ бюргерами, общались больше не стрѣлять, смѣялись надъ офицерами. Поэтому войска и убрали изъ Берлина“. <sup>9)</sup>

Въ 1849 г. реакція всюду опять побѣждаетъ. Австрійскія и русскія войска возстанавливаютъ прежній порядокъ. Потрясающее впечатлѣніе,

<sup>1)</sup> IV, 19.

<sup>2)</sup> IV, 23.

<sup>3)</sup> IV, 33.

<sup>4)</sup> III, 221.

<sup>5)</sup> VI, 409.

<sup>6)</sup> IV, 255.

<sup>7)</sup> IV, 261.

<sup>8)</sup> IV, 354.

<sup>9)</sup> IV, 326.

которое производитъ вѣсть о сдачѣ Гѣргеля Паскевичу <sup>1)</sup>, показываетъ, что тамъ, въ Венгріи, рѣшился окончательно исходъ борьбы между нѣмецкой революціей и нѣмецкой реакціей. Аристократія возвращается, пролетаріи идутъ въ ссылку.

Но духъ движенія не сломленъ, и еще въ апрѣлѣ 1851 г. Фарнгагенъ заноситъ въ свой дневникъ слѣдующія строки: „Будущее Европы — соединенные штаты отъ Тахо до Волги, миръ и дружба между свободными народами! Свобода стоитъ выше, чѣмъ народность, — поддерживаетъ ее, но не угнетаетъ“. <sup>2)</sup>

Мечты Фарнгагена не оправдались: судьба Европы сложилась не такъ, какъ онъ думалъ...

Статья эта была написана до войны. Теперь, когда народъ Фарнгагена зажегъ міровой пожаръ, грозя уничтожить плоды, принесенные всей европейской цивилизаціей, многія слова фонъ-Энзе получаютъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ иной смыслъ и значеніе. Но понять, какъ выросла въ семьѣ европейскихъ народовъ и стала такой, какъ есть, Германия, — для насъ теперь, конечно, только болѣе важно, чѣмъ прежде, и изъ всего, способствующаго этому пониманію, ничто не можетъ быть оставлено въ сторонѣ.

Г. Вернадскій.

<sup>1)</sup> VI, 327.

<sup>2)</sup> VIII, 132.

## Анна Ахматова. <sup>1)</sup>

### I.

Первый сборник стиховъ Анны Ахматовой „Вечеръ“, изданный въ началѣ 1912 года, былъ вскорѣ распроданъ. Затѣмъ ея стихи появлялись въ различныхъ повременникахъ, а въ мартѣ 1914 года вышелъ новый сборникъ „Четки“, въ который включена также значительная часть стихотвореній изъ „Вечера“. Среди неповторенныхъ стиховъ есть казенные съ излишнимъ жестокосердиемъ. <sup>2)</sup>

По выходѣ перваго сборника на стихахъ Ахматовой замѣтили печать ея личной своеобразности, немного вычурной; казалось, она и дѣлала стихи примѣчательными. Но неожиданно личная складка Ахматовой, и не притязавшая на общее значеніе, приобрѣла, черезъ „Вечеръ“ и явившіеся послѣ стихи, совсѣмъ какъ будто не обоснованное влияние. Въ молодой поэзіи обнаружались признаки возникновенія *ахматовской* школы, а у ея основательницы появилась прочно обезпеченная слава.

Если единичное получило общес значеніе, то, очевидно, источникъ очарованія былъ не только въ занимательности выражаемой личности, но и въ искусствѣ выражать ее: *въ новомъ умѣннн видѣть и любить челоовѣка*. Я назвалъ перводвижущую силу ахматовскаго творчества. Какія точки приложенія она себѣ находитъ, что приводитъ въ движеніе свою работу и чего достигаетъ—это я стараюсь показать въ моей статьѣ.

### II.

Пока не было „Четокъ“, вразбродъ печатавшіеся послѣ „Вечера“ стихи ложились въ тѣнь перваго сборника, и ростъ Ахматовой не осо-

<sup>1)</sup> Предлагаемая статья была сдана въ редакцію въ апрѣлѣ 1914 г. Напечатаніе ея было задержано преимуществомъ, даваемымъ статьямъ, связаннымъ съ войною.

<sup>2)</sup> Въ концѣ мая 1915 г. вышло второе изданіе „Четокъ“. Выдержки изъ „Четокъ“, приводимыя здѣсь, свѣрены со вторымъ изданіемъ. *Н. Н.*

знавался вполиѣ. Теперь онъ очевиденъ: передъ глазами очень сильная книга властныхъ стиховъ, вызывающихъ очень большое довѣріе.

Оно, прежде всего, достигается свободою ахматовской рѣчи.

Не изъ ритмовъ и созвучій состоитъ поэзія, но изъ словъ; изъ словъ уже затѣмъ, по полному соответствію съ внутренней ихъ жизнью, и изъ сочетанія этихъ живыхъ словъ вытекаютъ, какъ до конца внутренностью словъ обусловленное слѣдствіе, и волненія ритмовъ, и сіянія звуковъ—и стихотвореніе держится на внутреннемъ костякѣ словъ. Не должно, чтобы слова стихотворенія, каждое отдѣльно, вставлялись въ ячейки нѣкоей ритмо-инструментальной рамы: какъ ни плотно они будутъ пригнаны, чуть мысленно уберешь раму, всѣ слова рассказываются, какъ вытряхнутый типографскій шрифтъ.

Къ стихамъ Ахматовой послѣднее не относится. Что они построены на словѣ, можно показать на примѣрѣ хотя бы такого стихотворенія, ничѣмъ въ „Четкахъ“ не выдающагося (стр. 23):

Настоящую нѣжность не спутаешь  
 Ни съ чѣмъ, и она тиха.  
 Ты напрасно бережно кутаешь  
 Мнѣ плечи и грудь въ мѣха,  
 И напрасно слова покорныя  
 Говоришь о первой любви.  
 Какъ я знаю эти упорныя,  
 Несытые взгляды твои!

Рѣчь проста и разговорна до того, пожалуй, что это и не поэзія? А что, если еще разъ прочесть, да замѣтить, что когда бы мы такъ разговаривали, то, для полного исчерпанія многихъ людскихъ отношеній, каждому съ каждымъ довольно было бы обмѣняться двумя-тремя восьмистишіями—и было бы царство молчанія. А не въ молчаніи ли слово дорастаетъ до той силы, которая пресуществляетъ его въ поэзію?

Настоящую нѣжность не спутаешь  
 Ни съ чѣмъ,—

какая простая, совсѣмъ будничная фраза, какъ она спокойно переходитъ изъ стиха въ стихъ, и какъ плавно и съ отяжкой течетъ первый стихъ—чистые анапесты, конхъ ударенія отдалены отъ концовъ словъ, такъ кстати къ дактилической рѣчѣ стиха. Но вотъ, плавно перейдя во второй стихъ, рѣчь сжимается и сѣчется: два анапеста, первый и третій, стягиваются въ ямбы, а ударенія, совпадая съ концами словъ, сѣкутъ стихъ на твердыя стопы. Слышно продолженіе простого изреченія:

нѣжность не спутаешь  
 Ни съ чѣмъ, и она тиха,—

но ритмъ уже передалъ гнѣвъ, гдѣ-то глубоко задержанный, и все стихотвореніе вдругъ напряглось имъ. Этотъ гнѣвъ рѣшилъ все: онъ уже подчинилъ и принизилъ душу того, къ кому обращена рѣчь; потому въ слѣдующихъ стихахъ уже выплыло на поверхность торжество побѣды—въ холодноватомъ презрѣніи:

Ты напрасно бережно кутаешь...

Чѣмъ же особенно ясно обозначается сопровождающее рѣчь душевное движеніе? Самыя слова на это не расходуются, но работаетъ опять теченіе и паденіе ихъ: это „бережно кутаешь“ такъ изобразительно и такъ, если угодно, изнѣжено, что и любимому могло бы быть сказано; оттого тутъ и бьетъ оно. А дальше уже почти издѣвательство въ словахъ:

Мнѣ плечи и грудь въ мѣха—

этотъ дательный падежъ, такъ приближающій ощущеніе и выдающій какое-то содроганіе отвращенія, а въ то же время звуки, звуки! „Мнѣ плечи и грудь...“—какой въ этомъ спондеѣ и анапестѣ нѣжный хрусть все чистыхъ, все глубокихъ звуковъ.

Но вдругъ происходитъ перемѣна тона на простой и значительный, и какъ синтаксически подлинно обоснована эта перемѣна: повтореніемъ слова „напрасно“ съ „и“ передъ нимъ:

И напрасно слова покорныя...

На напрасную попытку дерзостной нѣжности данъ былъ отвѣтъ жестокой, и особо затѣмъ отгѣнено, что напрасны и покорныя слова; особенность этого отгѣненія очерчивается тѣмъ, что соответствующіе стихи входятъ уже въ другую ритмическую систему, во второе четверостишіе:

И напрасно слова покорныя  
Говоришь о первой любви.

Какъ это опять будто заурядно сказано, но какіе отвѣты играютъ на лоскѣ этого щита—щитъ вѣдь все стихотвореніе. Не сказано: и напрасны слова покорныя,—но сказано: и напрасно слова покорныя *говоришь*... Усиленіе представленія о говореніи не есть ли уже и изобличеніе? И нѣтъ ли ироніи въ словахъ: покорныя, о первой? И не оттого ли иронія такъ чувствуется, что эти слова выносятся на стянутыхъ въ ямбы анапестахъ, на ритмическихъ затаеніяхъ?

Въ послѣднихъ двухъ стихахъ:

Какъ я знаю эти упорные,  
Несытые взгляды твои,—

опять непринужденность и подвижная выразительность драматической прозы въ словосочетаніи, а въ то же время тонкая лирическая жизнь



въ ритмѣ, который, вынося на стянупомѣ въ ямбѣ анапестѣ слово „эти“, дѣлаетъ взгляды, о которыхъ упоминается, въ самомъ дѣлѣ „этими“, то-есть вотъ здѣсь сейчасъ видимыми. А самый способъ введенія послѣдней фразы, послѣ обрыва предыдущей волны, восклицательнымъ словомъ „какъ“,—онъ сразу показываетъ, что въ этихъ словахъ насъ ждетъ нѣчто совсѣмъ новое и окончательное. Послѣдняя фраза полна горечи, укоризны, приговора и еще чего-то. Чего же?—Поэтическаго освобожденія отъ всѣхъ горькихъ чувствъ и отъ стоящаго тутъ чело-вѣка; оно несомнѣнно чувствуется, а чѣмъ дается? Только ритмомъ послѣдней строки, чистыми, этими совершенно свободно, безъ всякой натяжки раскатившимися анапестами; въ словахъ еще горечь: „несытые взгляды твои“, но подъ словами уже полетъ. Стихотвореніе кончилось на первомъ вздрогѣ крыльевъ, но, если бы его продолжить, ясно: въ пропасть отрѣшенія отпали бы дѣйствующія лица стихотворенія, но одинъ духъ трепеталъ бы, вольный, въ недосыгаемой высотѣ. Такъ освобождаетъ творчество.

Въ разобранномъ стихотвореніи всякій отбѣнокъ внутренняго значенія слова, всякая частность словосочетанія и всякое движеніе стихового строя и созвучія—все работаетъ въ сообразованіи и въ соразмѣрности съ другимъ, все къ общей цѣли, и береженіе средствъ таково, что сдѣланное ритмомъ уже не дѣлается, напимѣръ, значенемъ; ничто, наконецъ, не идетъ одно вопреки другому: нѣтъ тренія и взаимоуничтоженія силъ. Оттого-то такъ легко и проникаетъ въ насъ это такое, оказывается, значительное стихотвореніе.

А если обратить вниманіе на его стройку, то придется еще разъ убѣдиться въ вольности и силѣ ахматовской поэтической рѣчи. Восемистишіе изъ двухъ простыхъ четырехстрочныхъ риемическихъ системъ распадается на три синтаксическихъ системы: первая обнимаетъ двѣ строки, вторая—четыре и третья—снова двѣ; такимъ образомъ, вторая синтаксическая система, крѣпко сцѣпленная риемами съ первой и третьей, своимъ единствомъ прочно связуетъ обѣ риемическія системы, притомъ хоть и крѣпкою, но упругою связью: выше я отмѣтилъ, говоря о драматической дѣйственности способа введенія второго „напрасно“, что смѣна риемическихъ системъ тутъ и надлежаще чувствуется и производительно работаетъ.

Итакъ, при разительной крѣпости стройки, какая въ то же время напряженность упругими трепетаніями души!

Стоитъ отмѣтить, что описанный приемъ, то-есть переводъ цѣльной синтаксической системы изъ одной риемической системы въ другую, такъ, что фразы, перегиная строфы въ срединѣ, скрѣпляютъ ихъ края, а строфы то же дѣлаютъ съ фразами,—одинъ изъ очень свойственныхъ Ахматовой приемовъ, которымъ она достигаетъ особенной гибкости и

вкрадчивости стиховъ, ибо стихи, такъ сочлененные, похожи на змѣй. Этимъ приемомъ Анна Ахматова иногда пользуется съ привычною виртуоза.

## III.

Разобранное стихотвореніе показываетъ, какъ говорить Ахматова. Ея рѣчь дѣйствительна, но пѣснь еще сильнѣе узываетъ душу. Въ этомъ можно убѣдиться по стихотворенію (стр. 46):

Углемъ намѣтилъ на лѣвомъ боку  
Мѣсто, куда стрѣлять,  
Чтобъ выпустить птицу—мою тоску  
Въ пустынную ночь опять.

Милый, не дрогнетъ твоя рука,  
И мнѣ не долго терпѣть.  
Вылетитъ птица—моя тоска,  
Сядетъ на вѣтку и станетъ пѣть.

Чтобъ тотъ, кто спокоенъ въ своемъ дому.  
Раскрывши окно, сказалъ:  
„Голосъ знакомый, а словъ не пойму“,  
И опустилъ глаза.

Въ пѣснѣ, какъ прежде въ рѣчи, та же непринужденность словорасположенія—этихъ словъ, безъ насилія надъ языкомъ, не соединить иначе какъ въ эти стихи: стихи выпѣлись изъ просто сказанныхъ словъ; оттого такими искренними и острыми они воспринимаются. Примѣчательнъ ихъ пѣсенный ладъ: онъ—свободный стихъ дактиле-хорейческаго ключа, живой и впечатлительный; начинаясь чисто дактилической строкой и въ послѣдующихъ стихахъ то и дѣло, особенно въ концѣ стиховъ, смѣняя дактили на хорей, стихотвореніе особенную нѣжную томность приобретаетъ отъ запѣвовъ (анакрузъ) третьяго, четвертаго, шестого, девятаго и десятаго стиховъ, отъ этихъ лишнихъ, до перваго главнаго ударенія, въ началѣ стиха раздающихся слоговъ. Напримѣръ, начало второй строфы:

Милый, не дрогнетъ твоя рука,  
И мнѣ не долго терпѣть.

Стихотвореніе сложено въ трехъ строфахъ. Первая построена эподически: четные стихи, трехударные, короче нечетныхъ, четырехударныхъ. Вторая строфа начинается такою же стройкою: второй стихъ трехударенъ; поэтому того же ждешь и отъ четвертаго, но вдругъ онъ оказывается, какъ нечетный, четырехударнымъ. Этотъ стихъ:

Сядетъ на вѣтку и станетъ пѣть,—

на которомъ происходитъ переломъ лирической волны—и значитель-

ность стиха еще приподнимается именно ритмическимъ его перенасыщеніемъ, которое, такимъ образомъ, исполняетъ опредѣленную и необходимую въ цѣломъ стихотворенія работу. Лирической переломъ именно въ концѣ второй строфы еще яснѣе чувствуется по сопоставленію съ пѣсенною связью двухъ первыхъ строфъ—съ тѣмъ, какъ онѣ скликаются между собою третьими своими, очень пѣвучими стихами:

Чтобъ выпустить *птицу*—мою *тоску*  
и *В*летитъ *птица*—моя *тоска*.

Третья строфа, такимъ образомъ, какъ бы обособлена: она снова эподического строенія, по образцу первой; только въ послѣднемъ стихѣ первый, вездѣ ударяемый (съ необходимою оговоркою о строкахъ съ запѣвами) слогъ ударение теряетъ (тутъ—не запѣвъ, такъ какъ первое ударение ложится на четвертомъ слогѣ), отчего стихъ становится особенно легкимъ, совсѣмъ летучимъ. И не даромъ, а въ полномъ соответствии съ вызываемымъ имъ видѣніемъ; вѣдь это стихъ:

И опустилъ глаза.

Какой онъ нѣжный и скромный, а самое вѣрное—тающий. Въ чемъ же источникъ этого послѣдняго ощущенія? Конечныя созвучія во всемъ стихотвореніи—риемы, во всемъ, кромѣ одного созвучія, связующаго именно послѣдній стихъ съ десятымъ: *сказалъ*—*глаза*. Оно—ассонансъ, и несовпаденіе созвучія въ томъ, что въ откликающемся стихѣ не договоренъ, какъ тонкое облако растаялъ послѣдній звукъ *л*, но, чтобы не убыло нѣжности, этотъ нѣжный звукъ вообще не пропалъ: созвучіе начинается очень глубоко, и только первый звукъ слова: „сказалъ“—с оставлеть безъ отклика; затѣмъ идетъ созвучіе гортанныхъ *ж* и *з*, созвучіе *а*, *з* и опять *а*; а то *л*, которое въ десятомъ стихѣ слышится въ концѣ созвучнаго слова, въ двѣнадцатомъ легло къ началу, между гортаннымъ и первымъ *а*: *сказалъ*—*глаза*.

Въ дальнѣйшемъ, когда мнѣ случится касаться отдѣльныхъ стихотвореній, я уже не буду говорить о томъ, какъ волнующаяся душа творенія выявляется въ звучащей плоти слова.

#### IV.

Въ разобранныхъ стихотвореніяхъ и безъ подчеркиванія поражаетъ струнная напряженность переживаній и безошибочная мѣткость остраго ихъ выраженія. Въ этомъ сила Ахматовой. Съ какою радостью, что больше уже не придется, хоть вотъ въ этомъ, въ затронутомъ ею, томиться невыразимостью, читаешь точно въ народной словесности родившіяся реченія (стр. 18):

Безвольно пощадь просятъ  
Глаза. Что мнѣ дѣлать съ ними,  
Когда при мнѣ произносятъ  
Короткое, звонкое имя?

Или такое (стр. 27):

Столько просьбъ у любимой всегда,  
У разлюбленной просьбъ не бываетъ.

Человѣкъ вѣка томится трудностью рѣчи о своей внутренней жизни: столького не выговорить за неустройствомъ словъ—и, прижатый молчаніемъ, духъ медлитъ въ ростѣ. Тѣ поэты, которые, какъ древле Гермесъ, обучаютъ человѣка говорить, на вольный ростъ выпускаютъ внутреннія его силы и, щедрые, надолго хранятъ его благодарную память.

Напряженіе переживаній и выраженій Ахматовой даетъ иной разъ такой жаръ и такой свѣтъ, что отъ нихъ внутренній міръ человѣка кипитъ съ внѣшнимъ міромъ. Только въ такихъ случаяхъ въ стихахъ Ахматовой возникаетъ зрѣлище послѣдняго; оттого и картины его не отрѣшенно пластичны, но, пронизанныя душевными излученіями, видятся точно глазами тонущаго (стр. 114):

Разсвѣтаетъ. И надъ кузницей  
Подымается дымокъ.  
Ахъ, со мной, печальной узницей,  
Ты опять побыть не смогъ.

Или продолженіе стихотворенія о просящихъ пощадь глазахъ:

Иду по тропинкѣ въ поле  
Вдоль стѣрыхъ сложенныхъ бревень.  
Здѣсь легкій вѣтеръ на волѣ  
По весеннему свѣжъ, неровень.

Иногда лирическая скромность заставляетъ Ахматову едва намекнуть на страданіе, ищущее выраженія въ природѣ, но въ описаніи все-таки слышны удары сердца (стр. 45):

Ты знаешь, я томлюсь въ неволѣ,  
О смерти Господа моля.  
Но все мнѣ памятна до боли  
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхаго колодца,  
Надъ нимъ, какъ кипень, облака,  
Въ поляхъ скрипучія воротца,  
И запахъ хлѣба, и тоска,

И тѣ неяркіе просторы,  
Гдѣ даже голось вѣтра слабъ,  
И осуждающіе взоры  
Спокойныхъ загорѣлыхъ бабъ.

Однако, слезы текутъ изъ глазъ отъ этого безголосаго вѣтра.

## V.

Уже по вышеприведеннымъ стихамъ Ахматовой замѣтно присутствіе въ ея творчествѣ властной надъ душою силы. Она не въ проявленіи „сильнаго человѣка“ и не въ выраженіи переживаній дерзновенно направленныхъ на впечатлительность душъ: лирика Ахматовой полнится противоположнымъ содержаніемъ. Нѣтъ, эта сила въ томъ, до какой степени вѣрно каждому волненію, хотя бы и отъ слабости возникшему, находится слово, гибкое и полнодышащее, и, какъ слово закона, крѣпкое и стойкое. Впечатлѣніе стойкости и крѣпости словъ такъ велико, что, мнится, цѣлая человѣческая жизнь можетъ удержаться на нихъ; кажется, не будь на той усталой женщинѣ, которая говоритъ этими словами, охватывающаго ее и сдерживающаго крѣпкаго панцыря словъ, составъ личности тотчасъ разрушится и живая душа распадется въ смерть.

И надобно сказать, что страдальческая лирика, если она не даетъ только что описаннаго чувства,—нытье, лишенное какъ жизненной правды, такъ и художественнаго значенія. Если ты все стонешь о предсмертномъ страданіи и не умираешь, не станетъ ли презрѣнною слабость твоей дряблѣ лживой души?—или пусть будетъ очевиднымъ, что, въ нарушение законовъ жизни, чудесная сила, не сводя тебя съ пути къ смерти, каждый разъ удерживаетъ у самыхъ воротъ. Жестокій цѣлитель Аполлонъ именно такъ блюдетъ Ахматову. „И умерла бы, когда бы не писала стиховъ“, говоритъ она каждою страдальческою пѣсней, которая оттого, чего бы ни касалась, является еще и славословіемъ творчеству.

## VI

Жизнеспасительное дѣйствіе поэзіи въ составѣ лирической личности Ахматовой предопредѣляетъ и кругъ ея вниманія и способъ ея отношенія къ явленіямъ, въ этотъ кругъ входящимъ.

Тотъ, кому поэзія—спаситель жизни, изъ боязни очутиться вдругъ беззащитнымъ, не распустилъ своихъ творческихъ способностей на наблюдательскія прогулки по окрестностямъ и не станетъ писать о томъ, до чего ему мало дѣла, но для себя сохранить все свое искусство.

По той же основной причинѣ не съ изслѣдовательскимъ любопытствомъ, въ которомъ мнѣ всегда чудится недоброжелательство къ человѣку, смотреть она на личную жизнь. Всегда пристрастно и порывисто ея осознаніе жизненнаго мгновенья, и всегда это осознаніе совпадаетъ съ жизненною задачею мгновенья; а не въ этомъ ли источникъ истиннаго лиризма?

Я не хочу сказать, что лиризмом исчерпываются творческія способности Ахматовой. Въ тѣхъ же „Четкахъ“ напечатанъ эпическій отрывокъ (стр. 84): бѣлые пятистопные ямбы наплываютъ спокойно и ровно и такъ мягко запѣиваются.

Въ то время я гостила на землѣ.  
Мнѣ дали имя при крещеніи—Анна,  
Сладчайшее для губъ людскихъ и слуха.

У этого стиха не та душа, что у лирическаго стиха Ахматовой. Судя по этому образцу, не-лирическія задачи будутъ разрѣшаться ею въ пристойной тому формѣ: въ поэмѣ, въ повѣсти, въ драмѣ; но форма лирическаго стихотворенія никогда не является у нея лишь ложнымъ обличемъ неллирическихъ по существу переживаній <sup>1)</sup>.

Творчество Ахматовой не стремится напечатлѣться на душу извнѣ, показывая глазамъ зрѣлице отчетливыхъ образовъ или наполняя уши многотонной музыкой внѣшняго міра, но ему дорого трепетать своими созданіями въ самой груди, у сердца слушателя и ластиться у его горла. Ея стихи сотворены, а не сочинены. Во всякомъ случаѣ, она, не губя обаянія своей лирики, не могла бы позволить себѣ того нышняго красованія сочинительскою силою, которое художнику, отличающемуся большею душевною остойчивостью, не только не повредило бы, но могло бы явиться въ немъ даже источникомъ очарованія.

Сказаннымъ предопредѣляется безразличное отношеніе Ахматовой къ внѣшнимъ поэтическимъ канонамъ. Наблюденіе надъ формою ея стиховъ внушаетъ увѣренность въ глубокомъ усвоеніи ею и всѣхъ формальныхъ завоеваній новѣйшей поэзіи и всей, въ связи съ этими завоеваніями возникшей, чуткости къ безцѣнному наслѣдству дѣйственныхъ поэтическихъ усилій прошлаго. Но она не пишетъ, на примѣръ, въ каноническихъ строфахъ. Нѣтъ у нея, съ другой стороны, ни одного стихотворенія, о которомъ бы можно было сказать, что оно написано исключительно, или главнымъ образомъ, или хоть сколько-нибудь для того, чтобы сдѣлать опытъ примѣненія того или этого новшества, или использовать въ крайнемъ напряженіи то или иное средство поэческаго выраженія. Средства, новыя ли, старыя ли, берутся ею тѣ, которыя непосредственнѣе трогаютъ въ душѣ нужную по развитію стихотворенія струну.

Поэтому, если Ахматовой въ странствіи по міру поэзіи случится вдругъ направиться и по самой что ни на есть ѣзжалой дорогѣ, мы и тогда слѣдуемъ за нею съ неослабно бодрой воспримчивостью. Цѣльѣ

<sup>1)</sup> Въ *Аполлонъ* 1915 г., кн. 3, напечатана превосходная поэма Ахматовой: „У сѣлаго моря“, подтверждающая высказанныя здѣсь соображенія. *И. И.*

не подражать ей, если въ своихъ скитаніяхъ руководствуешься картами и путеводителями, а не природнымъ знаніемъ мѣстности.

Когда стихи выпѣваются такъ, какъ у Ахматовой, къ творческой минутѣ примѣнимы слова Тютчева о веснѣ:

Была ль другая передъ нею,  
О томъ не вѣдаетъ она.

Естественное дѣло, что, обладая вышеописанными свойствами, ахматовскіе стихи волнуютъ очень сильно и не однимъ только лирическимъ волненіемъ, но и всѣми жизненными волненіями, возбуждившими къ дѣятельности творческую способность. Изъ двухъ взглядовъ на поэзію: изъ убѣжденія, что человѣческія волненія должны быть переработаны въ ней до полной незаразительности, такъ, чтобы воспринимающій лишь отрѣшенно созерцалъ ихъ, а трепеталъ только одною эстетической эмоціей, и изъ предположенія, что и самыя жизненныя волненія могутъ стать матеріаломъ искусства, которое тогда одержитъ всего человѣка, гармонизируя его вплоть до физическихъ чувствъ,—я предпочитаю второй взглядъ и хвалю въ Ахматовой то, что можетъ показаться недостаткомъ иному любителю эстетическихъ студней.

Вотъ эта дѣйствительность стиховъ Ахматовой вынуждаетъ отнести ко всему въ нихъ выраженному съ повышенной степенью серьезности.

## VII.

Несчастной любви и ея страданіямъ принадлежитъ очень видное мѣсто въ содержаніи ахматовской лирики—не только въ томъ смыслѣ, что несчастная любовь является предметомъ многихъ стихотвореній, но и въ томъ, что въ области изображенія ея волненій Ахматовой удалось отыскать общеобязательныя выраженія и разработать поэтику несчастной любви до исключительной многообразности. Не окончательны ли такія выраженія, какъ приведенное выше о томъ, что у разлюбленной не бываетъ просьбъ, или такія (стр. 30):

Говоришь, что рукъ не видишь,  
Рукъ моихъ и глазъ.

Или (стр. 37):

Когда пришли холода,  
Слѣдилъ ты уже безстрастно  
За мной вездѣ и всегда,  
Какъ будто копилъ примѣты  
Моей нелюбви

Или это стихотвореніе (стр. 26):

У меня есть улыбка одна.  
Такъ, движенье чуть видное губъ.

Для тебя я ее берегу—  
 Вѣдь она мнѣ любовью дана.  
 Все равно, что ты наглый и злой,  
 Все равно, что ты любишь другихъ.  
 Предо мной золотой аналой,  
 И со мной сѣроглазый женихъ.

Много такихъ же, а можетъ быть, и еще болѣе острыхъ и мучительныхъ выраженій найдется въ „Четкахъ“, и, однако, нельзя сказать объ Аннѣ Ахматовой, что ея поэзія—„поэзія несчастной любви“. Такое опредѣленіе, будь оно услышано человѣкомъ, внимательно вникшимъ въ „Четки“, было бы для него предлогомъ къ неподдѣльному веселью,—такъ богата отзвуками ахматовская несчастная любовь. Она—творческій приѣмъ проникновенія въ человѣка и изображенія неутолимой къ нему жажды. Такой приѣмъ можетъ быть обязательенъ для поэтессы, женщинъ-поэтовъ: такія сильныя въ жизни, такія чуткія ко всѣмъ любовнымъ очарованіямъ женщины, когда начинаютъ писать, знаютъ только одну любовь, мучительную, болѣзненно-прозорливую и безнадежную. Чтобы понять причину этого, надо въ понятіи поэтессы, женщины-поэта, сдѣлать сначала удареніе на первомъ словѣ и вдуматься въ то, какъ много за всю нашу мужскую культуру любовь говорила о себѣ въ поэзіи отъ лица мужчины и какъ мало отъ лица женщины. Вслѣдствіе этого искусствомъ до чрезвычайности разработана поэтика мужского стремленія и женскихъ очарованій, и, напротивъ, поэтика женскихъ волненій и мужскихъ обаяній почти не налажена. Мужчины-поэты, создавая мужскіе образы, сосредоточивались на общечеловѣческомъ въ нихъ, оставляя любовное въ тѣни, потому что и влеклись къ нему мало, да и не могли располагать необходимой полярной чуткостью къ нему. Оттого типы мужественности едва намѣчены и очень далеки отъ кристаллизованности, полученной типами женственности, приведенными къ законосообразной цѣльности. Довольно вѣдь назвать цвѣтъ волосъ и опредѣлить излюбленную складку губъ, чтобы возникъ цѣлостный образъ женщины, сразу опредѣлимый въ нѣкоторомъ соотношеніи къ религіозному идеалу вѣчноженственности. А не черезъ эту ли вѣчноженственность мужчина причащается горнихъ сферъ?

И если иной разъ въ различныхъ изломахъ нашей мужской культуры берется подъ сомнѣніе самая допустимость женщины въ горнія сферы, то не потому ли это, что для нея нѣтъ туда двери, соответствующей нашей вѣчной женственности?

Въ разработкѣ поэтики мужественности, которая помогла бы затѣмъ создать идеаль вѣчнотомужественности и дать способъ опредѣлять въ отношеніи къ этому идеалу каждый мужской образъ,—путь женщины



къ религиозной ея равноцѣнности съ мужчиною, путь женщины въ Храмъ. <sup>1)</sup>

Вотъ жажда этого пути, пока не обрѣтеннаго,—потому и несчастна любовь—есть та любовь, которою на огромной глубинѣ дышитъ каждое стихотворение Ахматовой, съ виду посвященное совсѣмъ личнымъ страданіямъ. Это ли „несчастливая любовь“?

Теперь въ томъ же понятіи поэтессы, женщины-поэта, надо перенести удареніе на второе слово и вспомнить Аполлона, несчастно влюблявшагося бога-поэта, вспомнить, какъ онъ преслѣдовалъ Дафну и какъ, наконецъ, настигнутая, она обернулась лавромъ—только вѣнкомъ славы... Вѣчное колесо любви поэтовъ! Страхъ, который они внушаютъ глубинностью своихъ поползновеній, заставляетъ бѣжать отъ нихъ: они это сами знаютъ и честно предупреждаютъ. Тютчевъ говоритъ дѣвѣ, приглашая ее не вѣрить поэтовой любви:

Невольно кудри молодые  
Онъ обожжетъ своимъ вѣнцомъ.

и дальше:

Онъ не змѣю сердце жалить,  
Но какъ пчела его сосеть.

Въ составѣ любовной жажды, выражаемой въ „Четкахъ“, живо чувствуется стихія именно этой пчелиной жажды, для утоленія которой слишкомъ мало, чтобы любимый любилъ. И не темная ли догадка о скудости просто любви заставляетъ мужчину какъ-то глупо бѣжать отъ женщины-поэта, оставляя ее въ отчаяніи непониманія.

Отчего ушелъ ты?  
Я не понимаю... (стр. 98).

Или, въ другомъ стихотвореніи (стр. 120):

О, я была увѣрена,  
Что ты придешь назадъ.

И что-то, хоть и очень мелко человѣческое, но всетаки понималъ тотъ, кто, какъ сообщается въ одномъ стихотвореніи (стр. 29), въ день послѣдняго свиданія

...говорилъ о лѣтѣ и о томъ,  
Что быть поэтомъ женщиной—нелѣпость.

Желаніе напечатлѣть себя на любимомъ, нѣсколько насильническое, но соединенное съ самозабвенной готовностью до конца расточить себя, съ тѣмъ, чтобы снова вдругъ воскреснуть и остаться и цѣль-

<sup>1)</sup> Въ довольно многочисленныхъ статьяхъ о „Четкахъ“ высказывались подобныя же мысли и притомъ столь часто, что мои соображенія въ настоящее время являются лишь обстоятельной формулировкой общаго мѣста.

нымъ, и отрѣшенно яснымъ,—вотъ она, поэтова любовь. Съ путями утоления этой любви иногда нельзя примириться—такъ оскорбительны они для обыкновеннаго сердца (стр. 73):

Оттого, что стали рядомъ  
Мы въ блаженный мигъ чудесь,  
Въ мигъ, когда надъ Лѣтнимъ саломъ  
Мѣсяць розовый воскресъ,—  
Мнѣ не надо ожиданій  
У постылаго окна  
И томительныхъ свиданій.  
Вся любовь утолена.

Невѣрна и страшна такая любовь; но изъ нея же текутъ лучи, обожествляющіе любимое, или, по крайней мѣрѣ, дѣлающіе его видимымъ. Аполлоново томленіе по впечатлѣнію на нѣдрахъ личности сливается съ женственнымъ томленіемъ по вѣчнотелесному—и въ лучахъ великой любви является человѣкъ въ поэзіи Ахматовой. Мукой живой души платитъ она за его возвеличеніе.

### VIII.

Но не только страданія несчастной любви выражаетъ лирика Ахматовой. Въ меньшемъ количествѣ стихотвореній, но отнюдь не съ меньшей силою вынѣваетъ она и другое страданіе: острую неудовлетворенность собою. Несчастливая любовь, такъ проникшая самую сердцевину личности, а въ то же время и своею странностью и способностью мгновенно вдругъ исчезнуть внушающая подозрѣніе въ выдуманности, такъ что, мнится, самодѣльный призракъ до тѣлесныхъ болей томитъ живую душу,—эта любовь многое поставитъ подъ вопросъ для человѣка, которому доведется ее испытать; горести, причиняющія смертельныя муки и не приносящія смерти, но при крайнемъ своемъ напряженіи вызывающія чудо творчества, ихъ мгновенно обезвреживающее, такъ что человѣкъ самъ себѣ являетъ зрѣлище вверхъ дномъ поставленныхъ законовъ жизни; неимовѣрныя воспаренія души безъ способности спускаться, такъ что каждый взлетъ обрывается безпомощнымъ и унижительнымъ паденіемъ,—все это утомляетъ и разувѣряетъ человѣка.

Изъ такого опыта родятся, на примѣръ, такіе стихи (стр. 58):

Ты письмо мое, милый, не комкай;  
До конца его, другъ, прочти.  
Надоѣло мнѣ быть незнакомкой,  
Быть чужой на твоёмъ пути.  
Не гляди такъ, не хмурься гнѣвно,  
Я любимая, я твоя.  
Не пастушка, не королева

И уже не монашенка я—  
 Въ этомъ сѣромъ будничномъ платьѣ,  
 На стоптанныхъ каблукахъ...

Кажется, только мертвый съ такою острою могъ бы вспоминать о жизни, съ какою Ахматова вспоминаетъ о времени, когда она не вошла еще въ свой испепеляющій опытъ; а едва свойства этого опыта будутъ ею опредѣлены, мы увидимъ, что въ мечтахъ огромнаго большинства людей онъ—лучшая доля. Вотъ что говоритъ она, вспоминая Севастополь (стр. 51):

Вижу выплывшій флагъ надъ таможней  
 И надъ городомъ желтую муть.  
 Вотъ ужъ сердце мое осторожнѣй  
 Замираетъ, и больно вздохнуть.

Стать бы снова приморской дѣвчонкой,  
 Туфли на босу ногу надѣть,  
 И закладывать косы коронкой,  
 И взволнованнымъ голосомъ пѣть.

Все глядѣть бы на смуглыя главы  
 Херсонесскаго храма съ крыльца  
 И не знать, что отъ счастья и славы  
 Безнадежно дряхлѣютъ сердца.

И еще—надобно много пережить страданій, чтобы обратиться къ человѣку, который пришелъ утѣшить, съ такими словами (стр. 55):

Что теперь мнѣ смертное томленье!  
 Если ты еще со мной побудешь,  
 Я у Бога вымолю прощенье  
 И тебѣ, и всѣмъ, кого ты любишь.

Такое самозабвеніе дается не только цѣною великаго страданія, но и великой любви.

## IX.

Эти муки, жалобы и такое ужъ крайнее смиреніе—не слабость ли это духа, не простая ли сентиментальность? Конечно, нѣтъ: самое голосоведеніе Ахматовой, твердое и ужъ скорѣе самоувѣренное, самое спокойствіе въ признаніи и болѣй, и слабостей, самое, наконецъ, изобиліе поэтически претворенныхъ мукъ,—все свидѣтельствуетъ не о плаксивости по случаю жизненныхъ пустяковъ, но открываетъ лирическую душу скорѣе жесткую, чѣмъ слишкомъ мягкую, скорѣе жесткую, чѣмъ слезливую и ужъ явно господствующую, а не угнетенную.

Огромное страданіе этой совѣтъ не такъ легко уязвимой души объясняется размѣрами ея требованій, тѣмъ, что она хочетъ радо-

ваться ли, страдать ли только по великимъ поводамъ. Другіе люди ходятъ въ міру, ликуютъ, падаютъ, ушибаются другъ о друга, но все это происходитъ здѣсь, въ срединѣ мірового круга; а вотъ Ахматова принадлежитъ къ тѣмъ, которые дошли какъ то до его края—и чтобы имъ повернуться и пойти обратно въ міръ? Но нѣтъ, они бьются, мучительно и безнадежно, у замкнутой границы, и кричатъ, и плачутъ. Непонимающій ихъ желанія считаетъ ихъ чудаками и смѣется надъ ихъ пустячными стопами, не подозрѣвая, что если бы эти самые жалкіе, испаранные юродивые вдругъ забыли бы свою нелѣпую страсть и вернулись въ міръ, то желѣзными стопами пошли бы они по тѣламъ его, живого мірскаго человѣка; тогда бы онъ узналъ жестокую силу тамъ у стѣнки по пустякамъ слезившихся капризницъ и капризниковъ.

## X.

Конечно, біеніе о міровыя границы—дѣйствіе религиозное, и если бы поэзія Ахматовой обошлась безъ сильнѣйшихъ выражений религиознаго чувства, все раньше сказанное было бы неосновательно и произвольно.

Но она сама указываетъ на религиозный характеръ своего страдальческаго пути, кончая одно стихотвореніе такими страстями (стр. 50):

Въ этой жизни я не много видѣла;  
Только пѣла и ждала.  
Знаю: брата я не ненавидѣла  
И сестры не предала.

Отчего же Богъ меня наказывалъ  
Каждый день и каждый часъ?  
Или это ангелъ мнѣ указывалъ  
Путь, невѣдомый для насъ?

Какъ Ахматова знаетъ упоеніе молитвы, можно судить по описанію молящихся передъ мощами святой (стр. 52):

И, согнувшись, безслезно молилась  
Ей о слѣпенькомъ мальчикѣ мать,  
И кликуша безъ голоса билась,  
Воздухъ силачь губами поймать.

Нельзя не отмѣтить, какъ здѣсь живетъ напряженіе чуть шевелящихся губъ, свойственное нѣмой молитвѣ: всѣ губные, такъ часто встрѣчающіеся въ этой строфѣ: *б*, *п* и *м*, стоятъ или въ началѣ, или въ концѣ словъ, или смежны съ ударяемымъ гласнымъ, напримѣръ: губами *поймать*. Примѣчательно, что ни одного *р* нѣтъ во всей строфѣ.

Наконецъ, весь вышеописанный жизненный опытъ, въ молитвенно появянномъ осознаніи, приводитъ къ такому смиренію (стр. 53):

Ни розою, ни былинкою  
 Не буду въ садахъ Отца.  
 Я дрожу надъ каждой сорипкою,  
 Надъ каждымъ словомъ глупца.

Религіозный путь такъ опредѣленъ въ Евангеліи отъ Луки (гл. 17, ст. 33): „Иже аще възыщетъ душу свою спасти, погубить ю: и иже аще погубить ю, живить ю“. Еще въ „Вечерѣ“ Ахматова говорила (стр. 102):

Не печально,  
 Что души моей нѣтъ на свѣтѣ.

А стихи, кончающіеся упоминаніемъ объ указуемомъ ангеломъ пути, начинаются такъ:

Пожалѣй о нищей, о *потерянной*,  
 О моей живой душѣ...

Для такой души есть прибѣжище въ Тайнствѣ Покаянія. Можно ли сомнѣваться въ безусловной подлинности религіознаго опыта, создавшаго стихотвореніе „Исповѣдь“ (стр. 60):

Умолкъ простившій мнѣ грѣхи.  
 Лиловый сумракъ гаситъ свѣчи,  
 И темная епитрахиль  
 Накрыла голову и плечи.  
 Не тотъ ли голось: „Дѣва! встань“.  
 Удары сердца чаще, чаще...  
 Прикосновение сквозь ткань  
 Руки, разсѣянно крестящей.

*Не дочь ли Таира?*

## XI.

При общемъ охватѣ всѣхъ впечатлѣній, даваемыхъ лирикой Ахматовой, получается переживаніе очень яркой и очень напряженной жизни. Прекрасныя движенія души, разнообразныя и сильныя волненія, муки, которымъ впору завидовать, гордыя и свободныя соотношенія людей, и все это въ осіяніи и въ пѣни творчества,—не такую ли именно человѣческую жизнь надобно привѣтствовать стихами Фета:

Какъ мы живемъ, такъ мы поемъ и славимъ,  
 И такъ живемъ, что намъ нельзя не пѣть.

А такъ какъ описанная жизнь показана съ большою силою лирическаго дѣйствія, то она перестаетъ быть только личною цѣнностью, но обращается въ силу, подъемлющую духъ всякаго, воспринявшаго ахматовскую поэзію. Одержимые ею, мы и болѣе цѣнной и болѣе великой видимъ и свою, и общую жизнь, и память объ этой повышенной оцѣнкѣ не изглаживается—*оцѣнка обращается въ цѣнность*. И если мы, дѣй-

ствительно, какъ я думаю, вплываемъ въ новую творческую эпоху истории человѣчества, то пѣснь Ахматовой, работая въ ряду многихъ другихъ силъ на восстановленіе гордаго человѣческаго самочувствія, въ какой бы малой мѣрѣ то ни было, но не помогаетъ ли намъ грести?

Въ частности же лирика, такъ много занимающаяся человѣкомъ и притомъ не уединеннымъ я, но его соотношеніями съ другими людьми: то въ любви къ другому, то въ любви другого къ себѣ, то въ разлюбленіи, въ ревности, въ обидѣ, въ самоотреченіи и въ дружбѣ,—такая лирика не отличается ли глубоко гуманистическимъ характеромъ? Способъ очертанія и оцѣнки другихъ людей полонъ въ стихахъ Анны Ахматовой такой благожелательности къ людямъ и такого ими восхищенія, отъ которыхъ мы не за года только, но, пожалуй, за всю вторую половину XIX вѣка отвыкли. У Ахматовой есть даръ геройскаго освѣщенія человѣка. Развѣ намъ самимъ не хотѣлось бы встрѣтить такихъ людей, какъ тотъ, къ которому обращены хотя бы такія, уже разъ приведенныя, строки:

Помолись о нищей, о потерянной,  
О моей живой душѣ,  
Ты, въ своихъ путяхъ всегда увѣренный,  
Свѣтъ узрѣвший въ шалашѣ.

Или такого (стр. 27):

А ты письма мои береги,  
Чтобы насъ разсудили потомки,  
Чтобъ отчетливѣй и яснѣй  
Ты быть виденъ имъ, мудрый и смѣлый.  
Въ биографіи славной твоей  
Развѣ можно оставить пробѣлы?

Или такого (стр. 19):

Прекрасныхъ рукъ счастливый плѣнникъ  
На лѣвомъ берегу Невы,  
Мой знаменитый современникъ,  
Случилось, какъ хотѣли Вы.

Или—тутъ уже нельзя отказать себѣ въ приведеніи всего стихотворенія; оно образецъ того, какъ надобно показывать героевъ (стр. 9):

Какъ велить простая учтивость,  
Подошелъ ко мнѣ; улыбнулся;  
Полуласково, полулѣниво  
Пощлуетъ руки коснулся—  
*И загадочныхъ древнихъ ликовъ  
На меня поглядѣли очи...*

(На какую высоту взлетѣть, сразу, мгновенно—сила то, значить, какая!)

Десять лѣтъ *замираній и криковъ,*  
 Всѣ мои безсонныя ночи  
 Я вложила въ *тихое* слово  
 И сказала его напрасно.  
 Отошелъ ты, и стало снова  
 На душѣ и пусто, и ясно.

Не только умомъ, силою, славою и красотой (хоть и излюблены эти качества гуманистами) обильны люди Ахматовой, но и души у нихъ бываютъ то такія черныя, какъ у того, для кого берегутся лучшія улыбки, то такія умиленные, что одно воспоминаніе о нихъ цѣлительно (стр. 56):

Солнце комнату наполнило  
 Пылью желтой и сквозной.  
 Я проснулась и припомнила:  
 Милый, нынче праздникъ твой.  
 Оттого и оснѣженная  
 Даль за окнами тепла,  
 Оттого и я, безсонная,  
 Какъ *причастница* спала.

Не должно говорить, чего стоитъ это сравненіе, если только не напрасно я писалъ выше о другомъ Тайнствѣ.

Я думаю, всѣ мы видимъ приблизительно тѣхъ же людей, и, однако, прочитавъ стихи Ахматовой, мы наполняемъ новою гордостью за жизнь и за человѣка. Большинство изъ насъ пока вѣдь совѣмъ иначе относится къ людямъ; еще въ умершихъ, такъ-сякъ, можно предположить что-нибудь высшее, но въ современникахъ?—какъ не пожать плечами...

Но вопросъ, не оказываются ли именно стихи Ахматовой вѣрнымъ постиженіемъ настоящаго; если такъ, то она не только помогаетъ плыть къ странѣ новой культуры, но уже завидѣла ее и возвѣщаетъ намъ: „Земля“.

Еще недавно, созерцая происходившія въ Россіи событія, мы съ гордостью говорили: „это—исторія“. Что же, исторія еще разъ подтвердила, что *крупныя* ея событія только тогда бываютъ *великими*, когда въ прекрасныхъ біографіяхъ вырастаютъ сѣмена для засѣва народной почвы. Стоитъ благодарить Ахматову, восстанавливающую теперь достоинство человѣка: когда мы перебѣгаемъ глазами отъ лица къ лицу и встрѣчаемъ то тотъ, то другой взглядъ, она шепчетъ намъ: „это—біографія“. Уже? Ее слушаешь, какъ благовѣсть; глаза загораются надеждою, и полнишься тѣмъ романтическимъ чувствомъ къ настоящему, въ которомъ такъ привольно расти непригнетенному человѣконенавистничеству духу. <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Надобно помнить, что это писалось весной 1914 г. Съ тѣхъ поръ исторія снова заполнила всю жизнь человѣчества такими жертвенными дѣлами и такими роковыми,

## XII.

Послѣ всего написаннаго мнѣ странно предсказать то, въ чемъ я, однако, увѣренъ. Послѣ выхода „Четокъ“ Анну Ахматову, „въ виду несомнѣннаго таланта поэтессы“, будутъ призывать къ расширенію „узкаго круга ея личныхъ темъ“. Я не присоединяюсь къ этому зову—дверь, по моему, всегда должна быть меньше хранины, въ которую вѣдетъ: только въ этомъ смыслѣ кругъ Ахматовой можно назвать узкимъ. И вообще, ея призваніе не въ растеченіи вширь, но въ разсѣченіи пластовъ, ибо ея орудія—не орудія землемѣра, обмѣряющаго землю и составляющаго опись ея богатымъ угодыямъ, но орудія рудокопа, врѣзающагося въ глубь земли къ жиламъ драгоцѣнныхъ рудъ.

Впрочемъ, Пушкинъ навсегда далъ поэту законъ; его, со всѣми намеками на содержаніе строфы, въ которую онъ входитъ, я и приведу здѣсь:

Идешь, куда тебя влекутъ  
Мечтанья тайныя.

Такой сильный поэтъ, какъ Анна Ахматова, конечно, послѣдуетъ завѣту Пушкина.

Н. В. Недоброво.

какихъ и видано прежде не бывало. И слава Богу, что люди, дѣйствительно, оказались безпредѣльно прекраснѣе, чѣмъ о нихъ думали; это въ особенности относится къ тому, столь оклеветанному до войны, русскому молодому поколѣнію, къ которому принадлежатъ почти всѣ рядовые и младше офицеры нашей арміи и которое, такимъ образомъ, выноситъ на себѣ свѣтлое будущее Россіи и міра. Къ Ахматовой надо отнестись съ тѣмъ большимъ вниманіемъ, что она во многомъ выражаетъ духъ этого поколѣнія и ея творчество любимо имъ.

Н. Н.



## Материалы по истории русской литературы и культуры.

### Письма Л. Н. Толстого къ Н. А. Некрасову. <sup>1)</sup>

Въ архивѣ Н. А. Некрасова, сохранившемся въ с. Карабахѣ (Яросл. губ.), находится семнадцать писемъ Л. Н. Толстого. Сообщаемыя нами пять писемъ относятся къ началу литературной дѣятельности Толстого.

#### I.

3-го Юля 1852-го года.

Милостивый Государь!

Моя просьба будетъ стоять вамъ такъ мало труда, что я увѣренъ вы не откажитесь исполнить ее. Просмотрите эту рукопись и ежели она не годна къ печатанію, возвратите ее мнѣ. Въ противномъ же случаѣ оцѣните ее, вышлите мнѣ то, что она стоитъ по вашему мнѣнію и напечатайте въ своемъ журналѣ. Я впередъ соглашаюсь на всѣ сокращенія, которыя вы найдете нужнымъ сдѣлать въ ней, но желаю, чтобы она была напечатана безъ прибавленій и перемѣнъ.

Въ сущности рукопись эта составляетъ 1-ю часть романа—Четыре эпохи развитія; появленіе въ свѣтъ слѣдующихъ частей будетъ зависѣть отъ успѣха первой. Ежели по величинѣ своей, она не можетъ быть напечатана въ одномъ номерѣ, то прошу раздѣлить ее на три части: отъ начала до главы 17-ой, отъ главы 17-ой до 26-ой и отъ 26-ой до конца.

Ежели бы можно было найти хорошаго писца, тамъ гдѣ я живу, то рукопись была бы переписана лучше и я бы не боялся за лишнее предубѣжденіе, которое вы теперь непременно получите противъ нея.

Я убѣжденъ, что опытный и добросовѣстный редакторъ—въ особености въ Россіи—по своему положенію постоянного посредника между сочинителями и читателями, всегда можетъ впередъ опредѣлить успѣхъ сочиненія и мнѣнія о немъ публики. Поэтому я съ нетерпѣніемъ ожидаю вашего приговора. Онъ, или поощритъ меня къ продолженію любимыхъ занятій, или заставитъ сжечь все начатое.

Съ чувствомъ совершеннаго уваженія, имѣю честь быть, Милостивый Государь, вашъ покорнѣйшій слуга

*Л. Н.*

Адресъ мой: черезъ городъ Кизляръ въ станицу Старогладковскую, Поручику артиллеріи Графу Николаю Николаевичу Толстому съ передачею Л. Н.—Деньги для обратной пересылки—вложите въ письмо.

<sup>1)</sup> Печатаемые документы взяты изъ подготовляемой нами книги „Архивъ с. Карабаха“, выходящей осенью въ кн-вѣ К. Ф. Некрасова. Во всѣхъ письмахъ строго сохранена орфографія подлинниковъ.